

Юз
Алешковский

Собрание
сочинений
в шести
томах

Т.2

PocketBook



Юз Алешковский

**Собрание сочинений
в шести томах. Том 2**

«Издательские решения»

Алешковский Ю.

Собрание сочинений в шести томах. Том 2 /
Ю. Алешковский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837082-3

Во второй том собрания сочинений вошли повесть «Синенький скромный платочек», «Книга последних слов» и «Сочинение на свободную тему». Лев Лосев: «Больше всего я люблю „Синенький скромный платочек“ (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух — невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике». ...И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка...».

ISBN 978-5-44-837082-3

© Алешковский Ю.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Аннотация | 6 |
| Синенький скромный платочек | 7 |
| Книга последних слов | 68 |
| 35 уголовных историй | 68 |
| Случай в мужском туалете | 69 |
| Двое в каюте | 74 |
| Взятки... Взятки... Взятки... | 80 |
| Проклятая трудовая вахта | 83 |
| Смерть овчарки | 88 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 89 |

Собрание сочинений в шести томах

Том 2

Юз Алешковский

© Юз Алешковский, 2017

© Александр Дунаенко, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7082-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аннотация

Лев Лосев: «Больше всего я люблю „Синенький скромный платочек“ (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике.» ...И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка... exhibOrance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны». Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову. Цитату я выбрал из статьи Эйхенбаума о Лескове («Чрезмерный писатель»). В этой статье развивается важный тезис о неотделимости литературного процесса от общеинтеллектуального, в первую очередь от развития философской и филологической мысли. Новое знание о природе языка и мышления открывает новые перспективы воображению художника, а по ходу дела соз— даются и новые правила игры. В середине двадцатого века распространилось учение о диалогизме, иерархии «чужого слова» у Алешковского становятся чистой поэзией. В «Платочке» смешиваются экзистенциальное отчаяние и бытовой фарс, и результат реакции – взрыв. Подобным образом в трагическом Прологе к «Поэме без героя» проступает «чужое слово» самой смешной русской комедии: ...А так как мне бумаги не хватило, Я на твоём пишу черновике. И вот чужое слово проступает...

Синенький скромный платочек Скорбная повесть

Памяти матери, отца и брата

Гражданин генсек, маршал, брезидент Прежнев Юрий Андропович!

К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом, как солдатская портянка периода окружения.

Ни ответа, как говорится, ни приветства не имею, хотя лечащий враг, вот именно не врач, не доктор, но враг не отказывает мне лично в бумаге и говорит:

– Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я, – говорит, докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни. Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать! Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдо-вушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет. В этом месте слезы капаят из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формой клякс. Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина. Третьего дня созвали нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал – лишением папирос-сигарет пригрозил. – Вы, – говорит, – сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть наи худшими помоями обливаете, на путь выздоровления от диссидентства вставать не желаете, но про «Малую землю» и слышать не хотите!

Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой Малой земли на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля – это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и соответственно отливы мочи сами знаете от чего.

Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил черт знает каких затей и всегда считал луну землю малой.

Луну же в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане. Так втолковывал нам на конференции, после читки вслух «Малой земли», Втупякин.

Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее «Луна». Если же назвать «Большая луна», то это несправедливо будет, вроде «Малой земли».

Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что, пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что Ленинскую премию за литературу поделят поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того, как ее делят между космическими конструкторами и делателями атомных бомб. А потом придет время и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев... Узнал бы! Узнал!

Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле, Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.

Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы, перехожу к самым что ни на есть обстоятельствам Второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-

то за что держат тут? Ведь если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.

*Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелепо не доверять в наше время признанию изолгавшегося негодяя. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярым кронштадтцем Вдовушкиным (sic!). С этой целью **Вдовушкин-сын** (курсив мой. – В.Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеил подобные штучки чудеснейшим глаголом «махнуться».*

Священный долг коммунистов не только поддержать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха – Авенариуса не могут понять, что законпанный в первичное, эрго, в материю, неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдовушкин Петр – сын злейшего кронштадтца и тред-юниониста Вдовушкина-старшего.

*Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением – этим гнусным служакой империализма. Оно (общественное мнение, прим. верно. – В.Л.) якобы обоснованно (см. мою докладную записку XIV съезду. – В.Л.) считает нашу поддержку нац. осе. движения всего-навсего стратегически хитрой мотивировкой, фактически **фиговым листком** (курсив мой. – В.Л.), прикрывающим гегемонистские неоиimperские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных снобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.*

Пусть ЦК обратит внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса – вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусенького. Пора завоевывать Общий рынок его несметными продзапасами. Жду свидания с Наденькой. Вот выпишусь и доспорим с путаником Сусловым относительно опасности обурокуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком. Вл. Ульянов (Ленин).

P.S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.

P.S.S. Электрон практически неисчерпаем.

P.S.S.S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовуш-кине будет положительным, поскольку советские профсоюзы – школа коммунизма.

Ваш Вл. Ленин (Ульянов)

Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не наслушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать – слезы лить – о погибшей понапрасну жизни. В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Втупякин их называет по-медицински чокнутыми циниками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их – в дурдом! Я своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы – говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий – раб, малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами, что ли, не видите? А верить в Бога почему людям

не велите? Верно люди говорят, что только в старом Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху в церкву пошел, а его легавые мало того, что не пустили, но и еще бока, сволочи, намяли, и безумцем объявили, чтобы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснуть в случае чего может. Мы же – терпи и не гавкай, не то в дурдом – под электрошок, инсулин и проклятую химию!

А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мытарств. Душевные они люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:

– Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение, – говорит, – это никотин для народа!

Ну, Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах.

Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А главное, бороду ему Втупякин не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда!

А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть, кто он есть на самом деле. Может, он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?

Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соединились они – тут всем и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе с ихней диктатурой, как зайцев, и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни пернуть измученной душе.

Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать – не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю – голова евонная в каске лежит, как бы в миске глубокой, и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и таращит, а где сам – неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видать. Только комиссар орет: «За Родину! За Сталина, сволочи, за власть Советов!» А я бы и рад, может, за Родину помереть, всем миром все же помирили, но за Сталина помирать – было в душе такое мнение – ни за что не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве же не сумасшедшее это дело помирать за кровопийцу, который родителей твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, спасибо бабка в деревню увезла?... потом к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того, что завел, скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите, маршал, за выражение.

Так вот, как услышу «за Родину», так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как добавит комиссар «за Сталина», так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, по-моему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помешает солдату помереть за Родину. Верно?

А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны – тьма. Им же велено было выбегать, «за Родину, за Сталина» орать. Вот они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что летят они сломя голову с «ТТ» в руках, а солдаты – на сто восемьдесят градусов и снова ничком в окоп, колени в подбородки вжи-

мать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал – чуял, сволочь, что солдат помирать за него не хочет, – забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпокать без сомнения в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуще прежнего вопить стали «за Родину, за Сталина». Глотки-то у них с семнадцатого года луженые, и главное дело – орать то одну пустобрешину, то иную.

Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сыплет, пулями свет Божий прошел, нету мочи сопротивляться. С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкеле-тины, смерти то есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два счета – а это проще простого, – что с Родиной станет? Может, Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали с двух концов – спереди танки-минометы, сзади комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приставишь. Народу больше было, слава Богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.

Ладно, думалось, при, фюрер, при, зараза волчья, прите, крысы фашизма. Заманим мы вас по-кутузовски в конце концов в такую крысоловку, что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.

Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я – русский Иван в том числе, а не вы – маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя «героями». Стыдно. Стыдно, генсек.

Ох, как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшной который, как я тогда, Господи, зарыдал. Век не забуду.

Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку геройскую дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: «Буде, братцы. Вы уж... тово... перегнули слегка».

Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:

– Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождями это бывает. Твое это все – золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, – прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душою новороссийской операции. Прости. Но и пойми, не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую, орденами увешанную. Народ, он что ребенок: если батька помер, отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зренья. Так что прости, солдат. Царство тебе Небесное!

Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.

Гляжу на вас тогда по телику и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу. Боже мой. Что я наделал? Как я жил?... Рыдания враз затрясли меня почище инсулинового шока...

Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку Неизвестного солдата, то есть самого себя, вернее, Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича, каковым и числюсь по истории болезни, приписанной мне Втупякиным – кандидатом сумасшедших наук.

Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить неперенное и главное.

Прибегаю, реву не в голос, по-бабьи, а внутри, и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается, и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом. Падаю на колени перед негасимым огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, морозящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающимся лбом и стенаю:

– Ленья! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей посмертной. Я ведь думал, что живой – я, а ты – мертвый, но все теперь наоборот. Прости... Исправлю такое положение. Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени – до Страшного Суда, перед которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня пытка. Пытка. Прости, Ленья!

Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему прибиваю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:

ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л. И. БАЙКИН.

«Погиб смертью храбрых» не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрекли нас Гитлер со своим дружкой Сталиным.

Несу плакат на могилу, несусь с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от вьезшегося в душу стыда... Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает...

Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:

– Хватит, Ленья. Будь ты Байкиным теперь самим собою, а я принимаю прежнее истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.

С этими словами ухожу... Дома радуюсь, ну прямо как мальчик. Чист! Чист! Главное – чист, а все остальное приложится: и возмездие за злодейство многолетнее, и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее, и все такое прочее...

Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал? Нас каждый Божий день не зовут в Кремлевский дворец жрать «столицу» и балыком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо...

Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут – на работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.

Всю ночь пою, надрываюсь «...идет война народная, священная война... 22 июня ровно в четыре часа... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... и у детской кровати тайком ты слезу вытираешь...»

Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида... Но ладно...

Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной – Нюшки, Настеньки, Анастасии – усилием воли своей, покалеченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Культия блаженно от него отдыхает. А сама нога моя правая, знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байковым Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось... Плачу и пою – собака, одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой...

И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по разводу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял – и все.

Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижилный был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не тупой, с добрым сердцем – нормальный, одним словом, русский человек, не до конца еще припохабленный советской крысиной властью...

Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был... На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж внимания не обращал. Ибо такая запредельная тоска пронизывала мою душу оттого, что ползли мы по растерзанному, неубранному полю побитой, вытопанной, втопанной в прах земли, выжженной ржи, что, кроме тощицы этой и настырной силы, внушенной свыше, ничего во мне не было. Ничего.

– Леня, – хриплю яростно, – Леня, Бога побойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас – такие жалкие мы и страшные, не бойсь, ползи, родной, спастись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня...

Немного осталось нам до низинки, до деревцев, измочаленных жутким железом... От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища... Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле...

Окопчик от танка нас спас, но он же Леню и погубил?

Я уж думал: все – спасены... темнеет... до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем... черт с нею, с едой... сон важнее человеку любой еды... суток трое мы уже не спали... за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?

В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю: успел я услышать сам взрыв или не успел... Неважно.

Отряхнулся от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я – окаянный. Леня, мой друг, лежит рядышком, словно спит – глаза закрыты, на губах улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка, а тормошить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронута. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоправимо ранен. Лежу я поначалу и не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек, что лучше. Но живым жить нужно.

Дрыгнул одной ногой – на месте. Дрыгнул второй – нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было, пускай Втупякин думает, на то он и кандидат наук. Может, еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.

Тянусь рукой к бедной ноге, неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда хана... Но – нет. До коленки дотянулся – счастьем меня просто пронзило: цела коленка. Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.

Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь – брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же или немного погодя дуба врезал бы, а я – человек крестьянский – губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причиндалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухариков, правда, не осталось в сумке. Рубанули мы их с Леней... Ну и прочая мелкая штукovina была там, вроде ножа, ложки... неважно, впрочем, все это, маршал...

Обрабатываю культю йодом... Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода... Может, контузило так, что шибанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато... Перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови – это я уже не говорю. Это пустяковина.

В глазах черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах – тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы... Беспамятство вдруг осенило меня, а может, кровячки потерял много и от этого внезапно испекся... Не знаю, сколько времени так прошло...

Очухиваюсь... Фу ты... Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня, на удивление, как у собаки, кошки и птицы. Неважно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.

Бой, кстати, все еще идет... Медсестер не видать нигде... Поубивало небось сестричек, перебило деточек бедных... Сколько времени, непонятно...

Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколками пробита. Но спасла, однако, спасла...

Контратака наша бесполезная, смотрю, пошла. Понимаю, что чуют солдаты гибельную опасность такого боя, всю зрящность его чуют, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.

Но Втупякин-то прет – комиссарище – сзади, «За Родину! За Сталина!» орет. На верную смерть сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.

Косит фашист солдат, просто аккуратно косит, ибо окопаться успел как следует. Зачем ему своя атака, если Втупякин гонит солдатиков, как скот на советский мясокомбинат, прямо на вражьи пулеметы и минометы?

Боже мой, сколь их на глазах моих полегло...

Вот завернул, согнувшись в три погибели, один солдатик обратно. Втупякин сходу – пулю в лоб... Еще двое завернули. И их выводит в расход Втупякин. С тылу солдатского сподручно ему это. Вот гадина. Спереди немец косит солдатиков, сзади Втупякин бьет в лоб.

Беру, не раздумывая, винтовку свою, номер вот забыл, вскидываю и, спасая от смерти брата своего – солдата, шпокаю Втупякина в спину евонную, портупеей комиссарской перехваченную. Падает с копыт.

Солдаты, вся цепь, враз, как по команде, залегли. И немцы примолкли, не стреляют. Тишина. Словно совесть их взяла стрелять в форменных самоубийц. А могли, могли перебить всех начисто. Может, ждали, что в плен наши сдадутся?... Не знаю. Факт описываю.

Тут туча чернющая небушко застлала. Тьма адская поле боя накрыла, но дождь не пошел. Тошно ему как бы было разбавлять благословенной небесной своей водицей грешную и несчастную человеческую кровь... Тихо кругом. Ни выстрела, ни голоса. Притомились люди вместе с техникой, и сама собой ночь пришла вскоре.

Зашевелились прилегшие было солдатiki. Грязь зачавкала. Ползком кто куда откатились. Отступили. Спаслись для будущего победного боя.

О Втупякине я и думать даже не стал. Полезное в данный момент войны дело сделал для Родины и для народа, без сожаления и не сомневаясь ни на грош. Потому что он – Втупякин – убийца был истинный, а не я.

Хотел я крикнуть, спасите, мол, братцы, рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую буковку. Хрип какой-то один. Контузия, видать, не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.

Снова ору. Снова один хрип... Ну, и откатились солдатики без меня, а я в окопчике один рядом с Леной остался. Так-то вот...

Пишу, маршал, по вечерам. Втупякин пьяный дрыхнет в процедурной. До утра продрыхнет, если, конечно, ЧП не случится. Тут всякое бывает. Чаше всех Ленин с молодым Марксом дерутся. Схватят друг друга за грудки и орут, яростно задыхаясь:

– Плевать я хотел на все базисы и надстройки. Я теперь субъективный идеалист, – это Карл Маркс орет, а Ленин взвизгивает:

– Мы все равно придем к победе коммунистического труда.

– Нет. Ни за что не придем.

– А вот и придем, и придем, и придем.

– Даже и думать нечего. Не придем. И так уж дошли до ручки, герр Ильич.

– Ликвидаторская рожа, – надрывается наш Ленин, – догматик и архимерзопакостный ревизионистишка.

– Жаль, Фридриха рядом нет. Мы бы тебя головой твоей в парашу затолкали и на Красной площади выставили ногами кверху, как Гегеля, на всенародное обозрение.

– Мелкобуржуазная образина. Ты – подлец и не выдержал испытания временем. Ты сахар экспроприруешь у меня по ночам. Нонсенс. Скотина. Курсив мой. Посмотри на расстановку сил на мировой арене, хулиган. Мы дружной кучкой вместе с политбюро идем по краю пропасти, крепко взявшись за руки. Из конфликта советской власти и партии с народом-победителем выйдет партия и власть, а народ станет эффективным двигателем истории. С кем вы, господин Маркс?

– С кровавой большевистской мразью и философией вшивоты я – Молодой Маркс – даже какать рядом не сяду. Понял, сковородка картовая?

Тут Ленин прищуривается, ручки потирает, довольный, и пользуется самым подковырочным своим оружием. Ехидно так напевает:

– Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Кларато Цеткин украла у Карла кларнет... Вот – наша коммунистическая скороговорочка, батенька... Ха-ха-ха... Ты украл у Карлы Клару и кораллы и кларнет.

Это уже драка. Разнимать их приходится. Дадим, бывало, обоим по хребтинам и спать уложим. Тошно нам порою от ихней классовой борьбы, провались они пропадом...

Вот, Ленин опять к перу рвется. Зазудело в нем. Ничего не поделаешь, генсек, кроме как Марксовой истории болезни, нету у нас бумаги, а письма, которых я вам штук сорок уже написал, Втупякин к моей истории подшивает – доктором, сволота, мечтает стать на чужой крови и судьбе, скор-пионище гадкое...

Докладная записка 345/678 рп.

Товарищ генсек, удивлен, что задерживается проведение экспертизы на предмет идентификации проходимца, находящегося в принадлежащем мне (см. пост. ВЦИК от 2.2.1924 г.) мавзолее. Мое заключение в ряде психиатрических домов, эрго, отрыв меня от внутреннего строительства и оперативных задач Коминтерна отрицательно сказываются на расширении сфер влияния советской власти во всем мире.

Ситуации во взрывоопасной Восточной Европе, равно как и на Кубе, Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Ливии и Никарагуа, нельзя считать стабильными (sic). Давайте посмотрим правде в глаза: многолетняя компрометация идей социализма и особенно коммунизма практикой существования стран так называемого соцлага требует от нас достижения главной цели – уничтожения старого мирового порядка, новых методов тактики в рамках

органически свойственной нашей программе глобальной стратегии и полнейшего политического аморализма.

Объективно детант продвинул наше дело далеко вперед, но посиживание на лаврах – смерти подобно. История не простит нам замораживания наших стратегических классовых активов. Мы обязаны пустить в оборот все завоеванное нами с таким титаническим трудом и невероятные лишения рабочего класса стран социализма за долгие годы детанта – этого начала конца традиционного политического мышления старого мира.

*В наших руках, благодаря логике истории, оружие неслыханной силы, а именно: скотское желание всех народов без исключения **мирно** (курсив мой. – В.Л.) жить в на части раздираемом противоречиями капиталистическом мире.*

Военное превосходство плюс неослабеваемый шантаж угрозой ядерной войны, наряду с беспринципной борьбой за так наз. Мир во всем мире, с активным подрывом всех экономических, моральных, государственных и прочих структур, изумительно готового к полному уничтожению старого общества, приносят моды на наших глазах. Близок час, когда мы вымостим полы в сортирах золотом и бриллиантами чистой воды.

Считаю безотлагательным делом (см. июньские тезисы) строительство мемориальной европейской Стены Расстрелов и составление списков вырожденцев, подлежащих казни, партии и народа, начиная с ведущих банкиров (не забудьте цюрихских гномов. Ха-ха-ха-ха. Смех мой. – Вл. ЛУ.) и глав монополий и кончая более мелкой сошкой типа Коррильо, Берлингуэра, Леха Валеты, Барышникова, Корчного, Солженицына, Рейгана, Максимова, Хейга, Абрама Терца и временно оставшихся в живых битлзов.

Необходимо на все сто процентов использовать пораженческие настроения господ западных либералов левого толка с их дурацкими (относительно нас. Курсив мой. – В. ЛУЛЬ-ЯН) розовыми идеями и декадентствующую интеллигенцию, невыносимо погрязшую в утонченных сексуальных безумствах и наглom наркоманстве.

Существует, однако, опасность забвения предоктябрьского опыта российской истории, приведшего к свержению Царизма и недолговременному установлению диктатуры пролетариата, который диалектически перешел после десятилетий красного террора в диктатуру партии – ума, чести и совести нашей эпохи.

*Необходимо запомнить: никакое кокетство с объективно и субъективно пораженческими кругами не помешает нам выделить для них в ближайшее время небольшой участок Стены Расстрелов, сиречь стенки (примеч. верно. – В. Уль). Возможно, это будут одни из последних расстрелов в предьстории человечества. В коммунизме же, то есть собственно **в истории** (курсив мой. – Вилич.), расстрелы уйдут в далекое и проклятое прошлое, оставшись лишь единственным способом разрешения наших партспортов.*

Если прискорбный и неслыханный акт отлучения меня от дел и более чем полувекое заточение в дурдомах СССР не помешали победоноснейшему шествию идей социализма и коммунизма по земному шару, то это – лучшее доказательство жизненности учения пожилого Маркса, которое всесильно, потому что оно верно, что бы ни болтал господинчик, прикидывающийся нашим Прометеем. Ничтожество.

Привет тов. Андропову – славному ученику Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берии и др. – за принципиальное отношение к близоруким иудушкам и прочим внутренним диверсантам.

Необходимо, архинеобходимо для нашей политической мобильности раз и навсегда пресечь разговорчики о пресловутых свободах слова, творчества, совести, перемещений, манифестаций и критики в адрес партруководства – этого коллективного разума нашего времени.

Ваш в. Л-н.

Прошу управделами Совнаркома выделить мне дополнительно 300 (курсив мой. – В. У.) грамм сахара для стимулирования высшей мозговой деятельности и прекращения мною ряда вынужденных экспроприаций сладенького из тумбочек господ-диссидентов и прочих врагов трудового народа.

Я – за эксгумирование останков неизвестного солдата с целью нахождения среди них правой ноги тов. Вдовушкина Петра. Во время взятия Зимнего его отец оказал партии ряд неоценимых услуг. Затем был расстрелян за попытку навязать нам дискуссию о социальном перерождении парт-элиты. Трилогия тов. Брежнева – архиинтересная книжен-ция. До этого генсека в нашей литературе даже меньшевика не было, не то что ликвидатора. Просто – глыба. Матерый человечеще. Скиньте, к чертовой бабушке, господина Достоевского – этого трупопоклонника – с фронта библиотеки, заслуженно носящей мое имя, и присобачьте туда, батеньки, бюст нашего партийного писателя №1. Рекомендую присвоить Л. И. Б-У звание вождя современного литпроцесса. (См. мою работу «Беспартийная мразь в литературе и очередные задачи красного террора в связи с его расширением в особо важных регионах мира».)

Ваш Ичълиулъян.

Весьма удивлен, что тов. Брежнев въехал в Париж во время своего визита во Францию не на броневике, который я, кажется, предоставил к услугам партии и народа, а черт знает на чем, чуть ли не на «кадиллаке». Нонсенс, товарищи.

Ваш Чичъ Нинел.

Бросьте все средства на усиление конфронтации арабских стран с Израилем – этим уродливым порождением бундовщины и гадкой исторической плантацией опиума для народа. Не забывайте, что все абсолютно источники нефти станут главным фактором организации всемирного экономкризиса, который позволит взять нам власть в свои руки в основных капстранах мира.

Пора уже сказать нефтяным шейхам всех мастей: шагом марш из-под дивана... И дайте же мне, наконец, свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей соячейке с 1924 года.

Ваш Владимильчло.

Долго больно писал наш Ленин, генсек. Зря вы его держите тут без экспертизы. Очень зря. Видно ведь, что умный человек и говорит занятно. Может, верно, что если бы он лежал в мавзолее, а не какой-то другой хмырь полуболотный, то давно бы уже всем войнам пришел конец, несправедливости, капиталистам, забастовкам в Польше, танцплощадкам и прочему старому миру. Кто знает? Так зачем Втупякин, гаденыш, издевается над самым настоящим Ильичем? Он что сказал, пьяная харя, третьего дня?

– Выдь-ка, Ильич сраный, Ленин затруханый, на балкон из моего кабинета. Хватит тебе тут прищуриваться и жилетку несуществующую большими пальцами растопыривать. Выдь!

Но Ленин-то наш не будь дураком отвечает:

– С детства боюсь высоты, эрго: на балкончик не выйду, батенька. Сыграйте мне лучше сонату, после которой хочется умыть руки и гладить по головкам.

– Вот я тебя, змей, и подловил, – обрадовался Втупякин, – никакой ты не Ленин, потому что Ленин с балкона балеринки Кшесинской выступал, речугу кидал народу и, заметь, не блеванул на него сверху вниз ни разу. Эрго: не Владимир ты Ильич Ульянов-Ленин, а мерзавец и симулянт, растративший миллион казенных рупчиков в Сочи, Ялте, Вильнюсе, Москве и Тбилиси, а теперь голову морочишь здесь ответственной психиатрии – науке нового типа, грудью вставшей на защиту советской власти от дружков твоих по палате. Мы

вам, обезьянам, вернем человеческий облик. Что ты, что Маркс – одна сволота. Марш под душ Шарко.

Но Ленин наш, как всегда, в слезы, но руку вперед выбрасывает с форсом эдаким комиссарским и на весь дурдом орет:

– Мы придем к победе коммунистического труда! Мавзолей – не купе бронепоезда! Вон из мавзолея симпатичного грузина! Капитал растратил не я, а Маркс...

Если вы там у себя в Кремле считаете, что в мавзолее настоящий лежит, а не туфтовый Ильич, то чего же вы этого не расстреляете? Почему отпечатки пальцев не делаете нашему по его же просьбе? Разве он стал бы просить сравнивать свои пальцы, если бы не чуял, что он – эрзац-Ленин? Нет. Никогда... Или взять меня, маршал.

Почему я требую вырыть – можно втайне от простых людей доброй воли, чтоб не расстраивались они, – останки друга моего Лени и среди них опознать мою личную правую ногу? Потому что она там и негде ей больше быть, кроме как там, с Ленею вместе. Вырой ты ее, и сразу тогда станет ясно, что не Вдовушкин стал неизвестным солдатом, а Байкин Леонид Ильич, чью фамилию ношу с 1941 года ровно в четыре часа. Киев бомбили, нам объявили, что начала-ся война... Моя там нога. А иначе разве стал бы я заваривать такую неприятную для всех кашу? Я по совести желаю и по чести. Неужели же легче измываться тут надо мною, лекарств венгерских и восточногерманских изводить на меня целую кучу, электроток трести, на ветер его пуская, кормить, лекции про «Малую землю» читать и санитаров держать с тигриными рылами, чем на пару только минут вырвать из земли мою оторванную ногу, анализы взять костей и портянки, сравнить, одним словом, и сомнений не осталось бы насчет того, кто есть кто. И все. И никто передо мною виноват не будет, а буду виноват перед всем миром один я за укрывательство своего имени, измену отечеству и переломанную тем самым судьбу... Подумайте...

Лежу я, значит, маршал, в окопчике, Ленею по чистому, холодному уже лбу глажу... А боль вдруг засадила в культе, притекла, зараза, хоть вой, как собака, непонятно кому жалуясь. Мочи моей нет, ровно не кровь течет от культы к мозгам через сердце и обратно, а боль, густая такая, свер-бежная боль.

Нет, думаю, от боли я помирать не желаю. От раны – пожалуйста, а с болью я свыкнусь. Нам к боли не привыкать. В НКВД, было дело, два месяца держали – шили попытку вымачивания картошки перед посевной с целью убийства урожая для голода в Москве. Картошку дурак пьяный из рабочего класса, дубина райкомовская – Втупякин, приказал вымачивать, ускорять по-большевистски цикл роста упрямых растений, а меня за него день и ночь колошматили, признаваться велели подобру-поздорову. Втупякин сам и пытал меня со своим дружкой из НКВД вместе... Бывало, в общем, и телу и душе побольней, чем в окопчике. Выдюжил. Выгнали. Прямо с печи с ребрами сломанными в поле погнали остатки картошки той изуродованной убирать... Втупякину же, слух пошел, расстрел вышел сверху...

Не желаю от боли помереть. Сильней я боли. Ползу из окопчика, благо, луна выглянула на чуток, и офицера немецкого различаю совсем рядышком... Ползу к нему в надежде и мольбе... Шмонаю ранец офицерский. Про боль забыл враз... В ранце фляжка, жратва, медицина всякая, трофейных орденов Ленина целая куча – на зубы золотые родственникам в Берлине...

Отступаю на исходный рубеж. Боль снова забрала вдруг, да так, что в беспамятство пару раз погружался... Ничего. Дополз с Божьей помощью.

– Леня, – говорю, – как бы мы сейчас с тобой гужа-нулись, может, в последний раз перед новым, смертельным для нас боем. Смотри, друг. Вот коньяк, он не водка, конечно, клопами отдает, но закосеть можно. Вот колбаса наша любительская, врагом завоеванная, хлеб есть, Ленечка, сыр, масло, яйца, смотри, как запасся офицерик несчастный, словно

к бабе в гости шел, а не на военную операцию. Отбили-таки мы у него кровную жратву нашу. Отбили, но с большими потерями, Леня...

Погиб мой дружок, помалкивает. Но Душа его поблизости находится, чую я это замечательно и поминаю вместе с нею Леню, друга моего фронтового, печально и светло поминую, жахаю коньяк из горла.

Стихает боль. Слабо, но стихает... Ни звездочки на черном небе, ни звука на поле боя, лишь сердце стучит жарко, боль тупо топчется в жалкой культе... Один я, поистине один во всем мире, растерзанный проклятым военным железом, рваными его кусками...

А зачем я, думаю, растерзан? За что ногу я свою потерял? За то, что лобызались два бандюги, а потом тот, который поумней и позадиристей, приделал к носу тухлую морковку скотине несусветной – Сталину?... Зачем я нахожусь в данный момент истории своей Родины не на кровати двуспальной рядом с женой желанной, с красавицей моей розовой после баньки, сам – чистый и сильный, а в углублении валяюсь могильным, разве что не закопан только, и нет мне помощи ни от врагов, ни от своих? Зачем?... Что же они – проклятые эти политики и вожди в игры нас свои кровавые замешивают, сами в подземельях с бабами и дружками посиживают, по картам смотрят поля боев, а мы тут отдуваемся, по пояс в землю вбитые с оторванными руками, ногами и головами. При чем здесь мы?... По какому такому закону жизни?...

Глотнул еще маленько – мозги прочистить от заковы-рочных вопросов. Да, говорю, Леня, видать, имеется суровый и глупый закон, по которому вожди проклятушие (почему ихним батькам вовремя дверью в амбаре женилки не прищемило?) – кашу вожди кровавую заваривают, а нам – беднягам – ее положено расхлебывать от века... На то мы, Леня, и солдаты, защитники. И если бы не мы, то кто за нас землю нашу невинную защищать будет? Вожди? Они, Леня, обдрищутся пять раз со страха и захнычут: «Дорогие братья и сестры». К нам, к народу, обратятся за спасением, и мы их, гадов, спасти вынуждены вместе с Родиной, потому что в Родину несчастную они все, как клещи, вцепились, особенно Сталин, и их уже никак от нее не оторвешь. А если бы можно было оторвать, то я бы, видит Бог, поначалу, до открытия военных действий, оторвал бы их, выкинул к чертям на необитаемый остров, и пушай они там с Жульверном фантазируют, суки. Вожди – они, Леня ты мой бедный, на погибель и большую беду нам дадены, а вот мы вручены им на ихнее паразитство и спасение. Тут уж ничего не поделаешь... Судьба это наша, а главное – грехи наши тяжкие, как бабка говаривала, Царство ей Небесное... Повезло-таки старухе: перед самой войной померла... Вот мы лежим тут с тобой, колбасу любительскую у врага отбив, а также сыр и яйца крутые, и трофей взяв – коньяк, и на нас, Леня, вся тяжесть сейчас. Выдюжить надо во что бы то ни стало. Сначала фюрера – глистопера усатенького к ногтю приделаем, а потом, может, и за друга его возьмемся, чтобы запел он да кучу в кальсоны наложил: «Где же ты, моя Сулико?...»

Тут, маршал, хочешь – не верь, засмеялся я, как дурачок, и вдруг потрясло что-то душу мою грешную и бедную, веселье жизни ее, по всей видимости, потрясло, и запел я ни с того ни с сего, пьяный, разумеется, был: «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... 22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... порой ночной мы расставались с тобой... чувствую рядом с тобой... чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

Конечно, маршал, в песне про бабу говорится и как уходить от нее ночной порой неохота, но на самом, конечно, деле песня эта про Родину, и не то что «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», а с душою, по правде сердца и без всякой враки комиссарской. Не знаю, кому до войны вольно дышалось. Небось, только падле усатой и своре евонных молотовых, кали-

ниных и кагановичей, а нам даже в колхозе вольно дышалось, лишь запершись в нужнике собственном... Ну, это ладно...

Пою, ожил голос контуженный, горланю во все горло, слезы текут прямо в рот, рыло стянуло грязью подсохшей, горе и боль разрывают все нутро, но что-то неудержимо поднимает душу мою из этого окопчика, страшно даже, чудесно даже, пою, однако, и пою, и внятно жаль мне Лению, и небо чернеющее, и себя-калеку, и Нюшку, Настеньку, Анастасию – жену молодую, непробованную как следует – двух дней не дал пожить Втупякин, военком проклятый, и гораздо больше, чем всех, жизнь мне вообще жаль, всю жизнь, что мы люди, сволочи, делаем с нею, во что мы поле превратили, зачем хлеб несжатый с костями смешали мы, с кровью, с плотью, с землей, зачем синенький скромный платочек, Господи, прости и помилуй, падал с опущенных плеч... строчит пулеметчик за синий платочек... идет война народная, священная война-а-а...

И что это? Слышу вдруг солдатское наше «ура», да такое богатырское, что, будь я врагом, в тот миг непременно об-дристался бы от ужаса.

Во тьме кромешной, в ночи, когда вроде бы сами фрицы умаялись вусмерть воевать, когда вроде бы судьбой самой выделено милостиво времечка маленько для передыху, поднялись солдаты и поперли, и чую я, что не Втупякин их гонит с тылу дулом в спины, а по личному почину «ура-а-а!» горланят и прут на врага уже неостановимо, потому что не дурак солдат «уракать» далеко от вражеской позиции.

Поздно было клевавшему носом фрицу-фашисту гоношиться. Поздно. Я и на слух понял, как там дело обернулось. Посочувствовал, грешен, немцу, ибо не могу злорадствовать-ваться, когда даже врагу моему штык в пузо втыкают до кишок самых и изо рта его такой звук возникает смертный, что зверь содрогнуться может, не то что живой человек. А если не один десяток людей хрипит, стонет и крикает, попав на штык?... Но и не лезь за чужим добром, скотина, сам виноват, небось в ранце у тебя наша колбаска валялась любительская, а не я за твоими сосисками с капустой поперся в Баварию... хрипи здесь, гад, в последнем покаянии и вине твоей передо мной.

Отыгрались, чую, солдаты наши за прошедшие в отступлениях и смертях страшные дни... «За Родину-у! Ура-а-а!» «За Сталина» чтобы орал солдаты – не слышать. Если б не комиссары, солдат про эту рябую, разбойную рожу вообще бы на войне позабыл к чертовой матери...

Я, конечно, ору им вслед: «Братцы-ы-ы... братцы-ы-ы...» Молчок. Ни ответа, ни привет. Вдогонку бросаться за ними на последней ноге – не было во мне, маршал, такого героизма, виноват... Бог с вами, думаю, валяйте, раз прорвали окружение, я для вас – верная обуза, ярмо на шее, веревки на руках, сам выкрутиться из лап смерти мосластой попробую...

Солнце тут вышло. Заря. А от нее совсем поле боя чертовой багровой жутью застлало. Все багровое – пушки, трупы, танки брошенные, рожь полегшая. Земля, развороченная и выпотрошенная как бы до самого нутра, кровью истекает бесполезной... Из культи сразу боль в душу мою поднялась, один я – живая личность – на поле боя кровавом, и потом вдруг пришибло меня от стыда и позора.

Смотрю из окопчика на небо, на поле – и краснею, маршал, перед Всевидящим, как пацан перед батькой, нашкодивши чего-то. Краснею, взгляда Его не выдерживаю и чую, что наделали мы, люди, опять такого зла ужасного, опять наделали такого зла, непонятно, ради чего наделали и как это вообще могло произойти, что только краснеть остается и возжелать сей миг сквозь землю истерзанную провалиться, лишь бы не видеть дел рук наших, непосильных для уразумения. Наверно, если б вторую ногу оторвало мне тогда миной, то легче бы во сто крат: понес бы я наказание, точно зная, за что несу его, и, может, душа не скулила бы так безысходно... Вот как дело было на земле, а что такое Малая земля, я не пони-

маю. Скорей всего – луна, где жизни нет, одни оспины каменные, как на роже у Сталина... Но – ладно...

И вот со светом замечаю поблизости знакомую мне, родную вернее, ногу в сапоге, раскуроченном взрывом. Добрый был сапог.

– Леня, – говорю, – сапог мой – вона.

Совсем тогда рехнулся, позабыв, что Леня не откликнется, сколько его ни аукай.

Хлебнул еще для душка из фляги, пополз, долго полз, вер-таюсь с ногой своей несчастной в руке. Все думаю, жить пора продолжать, других дел больше нету, слава Тебе, Господи, отвоевался парень, что-то его дальше, болезного, ждет?...

Не знаю, как уж тогда башка моя скумекала, что надо махнутья с Леной документишками – солдатскими книжками. Он ведь был один на белом свете, сирота, и у меня, кроме Нюшки оставленной, тоже никого не было. Только вот биография моя, как говорится, тянула меня, ровно камень под воду. Отец с большевиками в чем-то не столкнулся, учуял зверя, над народом нависшего, хоть и сам был большевиком поначалу, в Кронштадте заварушку устроил, ну, ленинцы-сталинцы его и кокнули.

В школе, сами знаете, маршал, понимаете, жизни мне не было, травили, в техникум даже не взяли, не то что в вуз, а я ведь учиться ужасно хотел, голова была на плечах неплохая, толк бы вышел из меня. Не понимала этого дура зловредная – советская власть... В пастухах ходи, вражеский выблядок, яблочко от яблоньки недалеко упало...

Нюшку я за что полюбил навек? Выйти она за меня не побоялась. На всех харкнула с комсомолом вместе, с активистами, стенгазетами и прочей бодягой... Вот какая баба была, маршал.

Бес, конечно, тогда меня попутал, потому что понял, зараза, что совестливый человек на поле боя и перед Господом Богом глаза потупив стоит, грехам своим ужасаясь и людскому общему злодейству. Вот и надо его, следовательно, или, как Ленин наш выражается, – «эрго», под монастырь подвести. И подвел, гад такой. Что ему стоит?

Я и взял размокший Ленин документишко, карточку сорвал. Свой же засунул ему за пазуху. А бес, как сейчас помню, нашептывает: двух зайцев сразу, дубина, убиваешь, советской власти пяточок поросычий к носопырке приделываешь, и Леня будет у тебя вечно живой, вроде Ленина. Что с того, что Вдовушкина как фамилию ты похоронишь? Сам-то ты ковылять будешь по белу свету, хоть и на одной ноге. Леня же большое спасибо скажет тебе на том свете за живучесть имени своего... знаешь, сколько людей в петлю враз полезло бы, если б пообещали им, что имена ихние переживут надолго их самих после смерти, и не сумлевайся, Петя, Ленею будь...

Я и стал. Вот как было дело в натуральном виде, маршал, я и слова не соврал...

Простился с Леной, вернее уже с Петей, с ногою своей простился, портянку, правда, прихватил, чего добру зря пропадать, а так пол-России скоро, судя по всему, немец отхватит сталинской роже благодаря...

Присыпал окопчик землею. Могилку как положено соорудил. Каску свою положил на нее, а Ленину на себя надел поверх пилотки. Изнутри касок фамилии наши были выпи-саны.

Помянул затем друга. До гроба, говорю, теперь тебя не забуду, милый мой, прощай, прости, извини, может, так лучше для живого человека при варварской власти будет? Царство тебе Небесное и моей правой ноге тоже, куда же ей теперь направляться, не в ад же кромешный? Прихвати, будь любезен, Леня, и ее заодно с собою...

Еще раз помянул. Огляделся по сторонам, чтобы место это не запамятовать. Ужаснулся вновь тому, что люди с землею натворили и с самими собою, и пополз в низинку костыль какой-нибудь из сука сообразить... Бой тем временем в стороне где-то идет...

Выжил, одним словом, чудом выбравшись из окружения и самой смерти мосластой еще раз хрена с отворотом показав.

Гангрена, по-моему, начиналась у меня. Думал – все, хана, лучше бы прихватило тебя тогда вместе с Леней, хоть рядышком лежали бы до Страшного Суда...

Собака спасла меня, маршал. Такая же жалкая, бездомная, голодная и затравленная тварь, как я сам... Отмочил я тряпки кровавые, загноившиеся от культуры, в речушке чистой, смотреть боюсь на то, что от ноги моей правой осталось...

Вдруг собака подходит. Хвостом весьма печально виляет. Обнюхивает осторожно и тщательно. Не немец ли? Убеждается собака, что русский человек пропадает тут ни за грош, и просто так, ровно форменная медсестричка какая-нибудь Машка, Танюшка, Нинка, Тамарка, Катька, Царство им Небесное всем, – принимается собака без долгих рассуждений, выполняя, так сказать, служебный свой долг, зализывать культу мою саднящую и внешне ужасную до отвращения и страха.

Шерсть на благородной псине в репьях, в грязище, брюхо подведено под хребтину от голодухи.

– Машка, – говорю, – накормлю я тебя сейчас, не бойсь, ежели выживу – скорей подохну, чем брошу, верь

Пете, верь Лене. Леня я теперь, Машка, Леня, Леонид Ильич Байкин.

А она хвостом ободранным повиливает, глазами, как доктор из-под очков, поглядывает на меня и зализывать культу не перестает.

Чем бы, думаю, накормить мне Машку? Тащусь в лесок, потрепанный боями. Нога подгибается, башка кружится, подташнивает от слабости, но тащусь. Не для себя же, в конце концов, стараюсь, а для собаки голодной. Машка за мной робко тянется, поскуливает от тоски собачьей, припугнула чертова война не на шутку тварь Божью...

В лесочке же ни вдоха живого ни на ветвях, ни под кустиками.

– Выходи, – говорю, – барсуки-суслики, из бомбоубе жищ, пожертвуйте собой ради человека и собаки. Галки, вороны, сороки, куропатки, куда вы запропастились все?... Тихо. Только комарики позуживают, на нервы, как самолеты, действуют... Беда... Война... Смерть кругом... В двух гнездах упавших птенцы полуголые, дохлые лежат, и глаза их ние приоткрыты, как у людей, посиневшими веками... Тошно было птенцов предлагать Машке, да она и сама есть их не стала, только обнюхала издали и вздохнула от тоски так, что сердце у меня ко всему прочему закололо... Что делать, как Ленин наш говорит, когда ему жрать охота... Брусника, ежевика и малина в зарослях – не для Машки еда... Хоть возвращайся в мясорубку на поле боя и неси собаке кусок человечины, елки зеленые... Это я так от безвыходности подумал и от тоски. Были такие собаки в войну, что бесстрашно околачивались около трупов, в ранцах солдатских и офицерских жратву отыскивали, но Машка была иного рода личность. Она войну по-человечески переживала... Погибла она на моих глазах от этого... Что делать? Знал бы, что встречу ее, придержал бы колбаски и сыра с булочкой...

Но если Ленин при таких обстоятельствах в уныние впадает и не знает, что делать, то Машка распорядилась умнейшим образом. Села, нос кверху вытянула, облизывается и меня приглашает взглянуть туда же.

Там чуть не на макушке высоченной сосны сова сидела, дрыхла себе, как всегда в дневное время... Не она ли над полем ржаным этой ночью носилась? Лишнего страха нагоняла, стерва.

Снимаю из-за спины винтовочку свою. Помехой она, конечно, была для меня, но и без винтовки на безобразии можно нарваться при встрече с нашими... Где твое боевое оружие, дезертирская харя?... Такой у вас разговор был, маршал, с несчастным солдатом, прорвав-

шим окружение. А вы его в расход пускали за потерю винтовки, чтобы другим nepовaдно было по приказу Сталина...

Снимаю винтовочку, а сил вскинуть ее, как некогда, словно пушинку, прицелясь немцу прямо между рог, нету, чую, таких сил в слабых мандражащих руках... Кровушка-то потеряна, душа от горя и страха истомилась в лоскуток, и коленка единственная подгибается, да еще приходится, чтобы не завалиться на глазах у Машки, равновесие придерживать, опершись о дырину, из орешины вырезанную.

Сажусь на пенек... Не промахнись, Петя, то есть Леня, не то слетит сова и подохнет с голоду подруга твоя фронтая – Машка... Тяжесть в винтовочке, как в болванке стальной, дрожат руки, глаз слезится, взрывом пораженный, но стреляю в бешенстве от своего бессилия, мать его, маршал, разъети... Фу ты, Господи, падает в траву сова, даже крылья от неожиданности не успев растопырить. Сова, конечно, не гусь и не курица. Тошно было ее ощипывать и потрошить, но пришлось и через это в жизни пройти... Всего я в ней, честно говоря, ожидал, но чтоб ощипывать сову?... И по пьянке в голову не влазила такая муть...

Костер сообразили. Чего уж жрать сырое свиное мясо поряточной собаке? Припалил я его как следует... Жрет благодарно. Пошикиваю, чтоб не давилась от безудержной жадности... И сам вдруг слюнки пускаю. Поделись, говорю, Машка, жизнь и во мне надо срочно поддержать. Подносит в зубах. Я и заплакал от жалкости нашей и полной невинности в происходящей с людьми и землею нашей подлости, а также от ярости на двух немыслимых вождей.

Вот, говорю, Машка, Сталин нам перед выборами говорил, что до коммунизма рукой подать, что расцветут скоро в пупках наших сытых вечные фикусы, а мы не работать в основном будем, а петь, плясать, мечтать и помогать другим закабаленным народам всего мира, чтобы и им как можно скорей до нашего чудесного состояния... Но что мы видим вместо фикусов в пупках? Видимо, мы петь еще вроде бы можем, а плясать... на руках будем, дай только с фашистом сладить... Свиным мясом сонной ночной птицы обернулся нам с тобою, Машка, коммунизм рябой отвратительной хари, приятного тебе аппетита, сестрица...

Зря, думаю, ты собачью порцию, Петя-Леня, отполовинил. Все одно подыхать тебе от гангрены антоновой. Генералы и то от нее подышают как миленькие, а ты и подавно загнешься. Мог бы и в чистом виде помереть, странным на вкус мясом не оскверненный... Мало я верил в спасение, плоха больно культа моя была, очень плоха...

Но вот день один проходит, потом второй, третий, Машка сама время процедур чуяла, неделя проходит, позуживает приятно культа моя, выглядит гораздо приличней, жара нет во всем теле, опухоль с колени спала, а еще дней через десять стал я, ровно в детстве, по-пацански корочки с раны заживающей отколупывать... Кость, главное, затянуло рваной моей кожей...

Машка, говорю, ты ведь не собака, а хирург первого класса, Бурденко четырехлапая, век тебя не забуду, жизнь тебе постараюсь, несмотря на тяжелое положение Родины и народа, справить и письмо, пожалуй, накатаю Сулико – вонючей мандавошке, чтобы собак на фронте не под танки бросали, толку от этого все равно никакого нет, только Ворошилову тупому лишний орден Ленина повесят, а чтобы вас в медсестры пристроили на крайний гангренный случай... Спасибо, дай поцелую тебя в бедный нос, псина... Залилась тут Машка откровенно радостным лаем, а я замурлыкал, как всегда: «синенький скромный платочек...»

Вы, маршал, не смущайтесь, что я прерываюсь иногда. Черти – Маркс и Ленин – к бумаге рвутся, в считалочку играют, кому первому писать: «Троцкий, Сталин и Гондон сели все в один вагон и поехали в Тифлис разводиться там сифилис. Раз, два, три – это будешь ты...»

Сейчас Марксу повезло, а я пойду покурю, отдохну, время три часа ночи, тоска на душе мрачная, но и надежда ее не покидает, что установите вы в конце концов истину военного времени и дадите человеку побыть хоть немного самим собой, завтра перейду к заключи-

тельной половине моего темного дела... поскольку выговорился и реже плачу от каменного невнимания к моим правдивейшим заявлениям. Не плачу, но и не пою. Сил нету петь. Допелся суслик...

1917-му КОМИНТЕРНУ

Не ирония ли это, товарищи, что я вынужден драться за каждый листок своей истории болезни, повторяющейся дважды: первый раз как трагедия, второй – как нелепый фарс? Только провонявшие насквозь жигулевским пивом и советскими сосисками бургеры не понимают причины перерождения в СССР святой коммунистической доктрины в окостенелую структуру праздного существования партийной, военной и жандармской элиты и охрану ее от недоумения народа. Если написание «Капитала» было трагедией, то перевод этого труда на русский язык, который я начал было успешно изучать, является несомненным фарсом. Если бы перевод назывался не «Капитал», а «Состояние», что соответствует психофизиологическому восприятию капитала вообще не быдловым, а аристократическим сознанием русского человека, то развитие пресловутого движения за освобождение рабочего класса России, безусловно, пошло бы другим путем. Чистые и романтические принципы молодого Маркса мерзкая личность гегеля Ульянова ухитрилась вывалить в кровавом дерьме настолько, что их реабилитация представляется мне при самых оптимистических прогнозах делом второго цикла человеческой истории... Состояние в себе, как таковое, безусловно, первичнее капитала – для нас. В чем глубочайший смысл польских событий? В гангрене власти, в дошедшем до очевидной ручки противоречии интересов власти посредственных тупиц и нравственных дегенератов с интересами широких трудящихся масс. Тем более в последнее время рабочему классу стало ясно, что ни о каком превращении труда в капитал не может быть и речи, если объективированный труд не инъецируется калорийными продуктами питания. Иными словами, для того чтобы произвести прибавочную стоимость, пролетарий должен есть мясо, масло, молоко и прочие продукты сельского хозяйства. Ничтожный недоучка, безграмотный философ и некультурный параноик Ленин просит Коминтерн признать вторичность продуктов питания в классовой борьбе с перенесением главного акцента внимания партии на вопросы идеологии. Нет. В организме человека базисом являются господин Желудок и мадам Печень, а надстройками – идеология, инстинкты труда и осознанная необходимость искусства. Поэтому: пролетарии так называемых соцстран, соединяйтесь в поддержке общенародных интересов рабочего класса Польши, Господин Улья...

Лаврентий Эдмундович

*Не пора ли прекратить эту заразную игру в меньшевистские бирюльки с молодым Марксом? Никаких послаблений. Ни в коем случае не гладить по головкам этих господ, не выдержавших испытание временем. Только бить, бить и бить. В этом залог нашей победы над легальным младомарксизмом... И перестаньте вы, батенька, закупать у империалистов хлеб для нашего рабочего класса. Неужели вам не ясно, что разрушение объективно кризисной ситуации внутри всего социалистического лагеря не в ублажении желудков разуверившихся в нашем деле двурушников, а в активном развитии хаотических моментов экономики Запада и Японии, а также в поддержке любого **терроризма** (курсив мой. – В. Уле.), дестабилизирующего и без того разболтанную структуру капообщества, в импортировании наркотиков, во всяческом развитии оболванивающей пролетариев все стран культуры, в провоцировании роста преступности и расовых конфликтов, эрго – расшатывании оснований прогнившего общества насилия и эксплуатации.*

Нам необходимо перенять у поповщины практику перехода на постную пищу вплоть до аскезы перед революционными праздниками. Причем количество этих праздников необходимо увеличить вдвое и даже втрое. Постные дни, недели и месяцы существенно укрепят наши стратегические наступательные силы. Почему мы продолжаем отдавать народ –

эту движущую силу истории – на откуп поповщине? Или всенародный пост спасет советскую власть, или недостаток мяса, масла и зерна ее погубит. Все на борьбу с аппетитом, который, по словам великого Демокрита, приходит необходимо во время еды. Прошу срочно переименовать «Правду». «На боевом посту» – лучшее название для данного истмомента.

Ох, батенька, не нравятся мне эти польские настроень-ица.

Поздравьте Хафеза Амина с приходом к власти после Та-раки-какаки (смех мой. – Влиульь.). Очень симпатичный афганец. Просто – глыба. Матерый человечеще.

Правда ли, что Москва наводнена бандами ходоков, разбазаривающих продукты рабочего класса столицы? Всех – под трибунал. Чем меньше ходоков, тем меньше едоков. Неужели вы забыли простую арифметику классовой борьбы, товарищи? А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому огромному лбу. Иногда хочется все бросить к чертовой матери и лечь на свое место. Но мы дотянем, мы дотянем до конца предыстории человечества. Основное – наполнять наркотиками западный мир. Пусть пребывает под наркозом, пока мы удаляем из человечества раковую опухоль частного предпринимательства – этого мощного тормоза на пути к коммунизму. Не забывайте, что до Него социализм – это учет недовольных и инакомыслящих с последующей изоляцией их от общества. Дайте, наконец, санкцию на ликвидацию Маркса. Ваш Лену л... Бросьте...

Беда, генсек, с этими твоими деятелями. Фридриха и Сулико – однодельцев ихних – только здесь не хватает...

Маркс до чего дошел? Пасту зубную из пяти тюбиков выжал, в кружке развел чайком и хлобыстнул, не крикнув даже.

– Кайф, – говорит, – очень сейчас хочется не переделывать мир, а объединять и тискать алкоголический манифест. Ну, а если уж переделывать мир, картавая сковородка, то не твоими грязными руками, а, по крайней мере, силами социал-демократов и прочих партий народного благоденствия и защиты традиционной морали. Чего ты, как хорек, возненавидел весь мир, если у тебя братца ухлопали? За дело ведь повесили, а не просто за калмыцкий глаз, на царя ведь, сволочь, руку поднял, а не на какого-нибудь поганого инструкторишку райкома твоей дегенеративной, фантомальной партии... Об этом ли мечтали мы ночами с Фридрихом. Какое счастье, что он не дожил до такого невыносимого позорища. О, если бы можно было начать все сначала, пошли бы мы с ним вместе совсем другим путем. Где моя молодость? – Вот тут, маршал, начинается главная катавасия. Мы за животы с диссидентами и с Колумбом от смеха хватаемся, только Самосов сидит и как бы продукты людям отпускает. Мания величия у него застарелая: директором Елисеевского гастронома в Москве себя воображает. А я думаю так: если бы он на самом деле был директором, то и сидел бы в данный момент у себя в кабинете, а не на казенной коечке, как и я. Потому что если бы я был натурально Байкиным Леней, то я в земле сырой находился бы, и надо мной огонь негасимый горел бы синим пламенем с розовым венчиком, и вдовы безутешные лили бы слезы по сгинувшим без вести мужикам, и матери старые-престарые, выплакавшиеся до душевного доньшка, устилали бы мое каменное надгробие ромашками и колокольчиками... Ну а Ленину если верить, то когда бы выполняла партия все его мысли и мечты, то капитализма не было бы уже на всей планете и люди сытые и свободные гладили бы друг друга по головкам, работая исключительно по желанию и беря в открытых распределителях все, что душе твоей коммунистической угодно, вплоть до птичьего молока. А на каждом столбе висели бы чучела бывших банкиров, зав. корпорациями, монополиями, чучела Картера, Рейгана, Садата, Сахарова, Солженицына и прочих менее значительных врагов коммунизма, вроде перебежчиков балерунов и шахматистов.

И лилась бы, не смолкая по ночам, нечеловеческая музыка советских композиторов из громкоговорителей и с тех же столбов. Сам же он – Ленин – лежал бы на своем законном месте, где сейчас враги и перерожденцы незаконно распластали труп проходимца какого-то, скорее всего, по прикидкам Ленина, палача и сволочи гнусной Ежова Николай Иваныча, потому что пропал он в тридцать восьмом году бесследно и нигде, кроме как в мавзолее, не мог по распоряжению Сталина расположиться...

И у Маркса молодого – одна и та же песенка. Капитал надо понимать как состояние, и тогда не будет никакого в мире бардака и власти бескультурных динозавров, вроде тебя и твоих дружков, маршал. Мне эти слова непонятны, ибо я не имел никогда ни капитала, ни состояния.

Одним словом, с обоими не соскучишься. Вот я пишу сейчас, а они сцепились вновь. Теперь Ленин в ответ вопиет:

– Ты приставал к Наденьке на Пражской конференции! Дело о твоих педерастских отношеньицах с Фридрихом было первым делом нашей партии, но его скрыли от пролетариев всех стран. Нонсенс... Ты продался, подлец, социалдемократам за чечевичную похлебку... Ты ведешь из-под койки провокационные радиопередачи в предательскую Польшу, чтобы проклятые забастовщики – враги партии и власти – вспомнили про прибавочную стоимость и права пролетариев. Прибавочная стоимость, батенька, кончилась, с вашего позволения, в 1917 году, в октябре месяце по старому и отныне вся до копейки идет на развертывание народно-освободительных движений во всем мире и на дальнейшее насильственное расширение сфер нашего влияния. Я тебя теперь глушить буду, и плевали мы – большевики – на заключительные акты, мудро подписанные нами в марионеточной Финляндии... Ву-у-у-вы-ы-ы-ы-ввв-а-ав-ав-ав.

А Маркс наш запрещенным приемом пользуется. Тихо так и вежливо заявляет:

– Нет, никогда мы, конечно, не придем к победе коммунистического труда. Жамэ, месье Ульянкинд.

– Придем. Придем. Придем. – Кулачонками Ленин по тумбочке забил и ножками засучил очень нервно. Жаль даже человека. Лицо у него в такие минуты становится больно несчастным и пацанским. А я думаю, что это за зараза такая в головах у того и у другого с поражением всех остальных первоначальностей души? Что это за напасть такая дьявольская, что из-за нее ни нам, русским, ни полякам, ни евреям даже и афганцам житья нету вот уж седьмой десяток лет? На кой хрен нам все это надо? Почему кормят нас насильно мерзопакостью этой, как диссидентов в голодовку, если мы уже из души выbleвали и социализм и коммунизм, а желудки, животы наши такой тухлой требухой не прокормишь...

Опять драка. Маркс – тот посильней и помоложе. Пригибает голову, промеж колен зажимает ее и «селедок» с отяжкой выдает Ильичу по жопе сохлой. Крик. Шум. Втупякин пьяный из процедурной приперся. Гной в бесстыжих глазенках... В карцер обоих... Чудом меня со стыренной историей болезни не засеки. Думать страшно, что тогда было бы... Страшно... А зачем шуметь из-за идейных разногласий? Не надо. У нас тут не то что на воле – думай в любом плане и в любом разрезе, но режима не нарушай. Раз есть такое право – не шуми, хотя это право из нас разной нечистью в таблетках и шоками...

Вот человек, сосед мой по койке, Степанов Ваня. Что ему Втупякин толкует? Пока, толкует, не поверишь, сволочь, что советские профсоюзы – школа коммунизма, а польские – махрового капитализма, не выйдешь отседова, сгниешь с потерей диссидентской своей личности и обретением новой – хорошей, любящей партию, правительство наше родное, КГБ и ВЦСПС. Такие мрази, как ты, Польшу от нашего лагеря отторгают пятый раз за всю историю этого блядского государства, норвящего укусить мать-Россию в щедрую грудь. Брюхо

свое шопены и мицкевичи всякие выше социализма ставят... Понял, гад народа, медицинскую мою истину?...

Что же это такое, генсек? Все мы правды, только лишь правды добиваемся здесь. Я – чтоб самим собой перед смертью стать. Ленин – чтоб его заместо ежовского чучела в мавзолей, можно сказать, личный вернули. Карла желает от души Гегеля своего с головы на ноги опять поставить, потому что они тогда с Энгельсом погорячились и промазали слегка. Гегель-то, оказывается, на ногах стоял, и перекантовывать его вовсе не следовало.

Или Степанов. Справедливо человек чешет, что нету у нас никакой диктатуры пролетариата, что раб он, загнанный до скотства за шестьдесят лет, и что все вы там в Кремле и на периферии в обкомах и райкомах – кучка сумасшедших туподрынов, изолгавшихся и заплесневевших в крепостях, охраняющих вас от народного взгляда. Разве ж не так, генсек?...

Или взять Гринштейна. Самолично книгу сочинил человек и в ней доказывает, что конституция наша – самая справедливая как бы в мире – нарушается на каждом шагу. Факты у него в руках, а не трепня. Он же и тычет вам вашей конституцией в носопыркалки и вежливо просит выполнять ее – и ничего больше. Не прав он, что ли? Человек сам книгу сочинил от большой души, болеющей за твою же советскую, по глупости, власть, а его – в дурдом, тогда как вы сами наболтали всем давно известную историю про войну бригадушке шабашников продажных и премию за это отхапали внаглую с золотым оружием. Думаете, Ленин не раскрылся нам за сто грамм конфет «Вперед», как оно дело было, как политбюровская шобла целую неделю обрабатывала беспрецедентно своего скромного и простого Ильича, пока не дал он согласие на премию вам в сто тыщ? Вы ведь самого Сулико в этом деле за пояс заткнули. Тот уж на что охамел в сосиску, а премий Сталинских себе не присваивал, воздерживался, стеснялся, видать, народа и Черчилля с Трумэнном.

Это у вас, генсек, мания величия и преследования, если вы Степановых, Гринштейнов и меня с Карлой в дурдом упрятали. Ну, Колумб – хрен с ним, спятил действительно человек, доказывает, что он Америку открыл, но сообщить об этом в Москву, в ЦК не мог, так как тогда не было еще телеграфа... И Ленин, на что идиотик, а прав, что если бы вы его захоронили, несчастного, по-настоящему, на все века вперед, то не было бы в стране у нас никакого бардака в тяжелой промышленности и в сельском хозяйстве... Ну ладно. С вами насчет этих дел болтать, что гороха нажраться – в брюхе бурчит, а правды нигде не добиться. Вот как...

В общем, захоронил я тогда Леню и ногу свою правую. Как плакал над ними – один Бог, небось, слышал... Салют, помню, дал из винтовочки, хотя внимание привлекал вражеское. Плевать на вас, думаю, нельзя хоронить солдата и друга без воинской почести... Прощайте, дорогие, вечная вам память, вечная вам слава за все хорошее, что сделали вы для меня лично и для Родины нашей, попавшей под два ярма – большевистское и фюреровское. Могилки вашей век не забуду, не быть ей без цветочков, без яичка на Пасху и булочки белой в Родительский день. Клянуся...

Собаку, кстати, что жизнь мне спасла, а главное – вторую ногу, я тоже не забыл. При госпитале Машка кормилась. Променял я ради спасения живой твари верность своей Нюшке, Настеньке, Анастасии, променял. Врачиха одна пожалела из-за меня собаку.

Я ведь очень красивый мужик был. Очень. И неиспорченный, не то, что ты, маршал, самолетных проводниц, Маркс рассказывал, невинности в тамбуре прямо лишаешь. А я красивый был и благородный. Охочий до баб, не калека ведь, но не жадный. Так, на шашлык лишь бы, как говорят, посадить никогда не старался. Я все больше из жалости да из уважения имел бабенок. О любви что говорить? Была любовь и сплыла... Тут плачу... не могу... плачу... кружочками слезы свои обвожу... прости, маршал, на «ты» давай, ничего с собой поделывать не могу, аминазин не помогает... плачу... все загубил... славу Ленькину и свою

заодно... Ньюшки-ну, Настасьи, Анастасии моей любовь... все... не успокоюсь, пока Гегеля, как говорится, на ноги не поставлю с головы нынешней... плачу...

Вот и охраняла из-за меня врачаха Машку и, разумеется, прикармливала. Раненые некоторые, калеки, до того обозлены были на весь белый свет, что костылямиогревали иногда ни с того ни с сего бедную собаку и сестрам нервы выматывали.

Одним словом, вмазалась в меня врачаха. У самой, как говорится, одна нога была короче, другая деревянная была, но лицом – ангел. Натуральный ангел.

Вижу, личность мою возжелала весьма, но млеет лишь неуверенно, трубочкой чаще, чем надо, грудь мою прослушивает, контузией, говорит, шибануло ваш организм, Леонид. Массаж груди самолично совершает. Дышит с придыханием, волосы эдак вскидывает с форсом, вмазалась, одним словом.

Ну, поговорил с ней сначала о собаке, а потом в кабинете стали запираяться в ночные врачихины дежурства. Я и сам ожил немного от войны адской, хоть из-за измены жене своей сердечно терзался. Разрывается просто сердце от вины и тоски...

Немца меж тем от Москвы отогнали еще дальше. Деревню нашу освободили. И вот тут первый раз схватил меня страх и сожаление, что изолгался я донельзя. Но ведь Ньюшку вызывать, пояснить ей все в открытую, она же поймет, что с моей фамилией дороги никуда нету, но только в тюрьму, что Сталин, как разделается со своим лучшим другом, так еще больше озвереет и за недосаженных примется, в чем я не ошибся, между прочим.

Пишу письмо в сельсовет свой хитроватое. Так, мол, и так, друг я Вдовушкина фронтовой, который Петр из вашего сельсовета. Потерялись мы в окружении, сам я ранен и теперь без одной ноги с контузией всего организма, имею кое-что передать жене его Анастасии, ответьте, жду...

А врачаха притормозила меня в госпитале, хотя я уже прилично оклемался, рыло разъел от гостинцев своей полюбовницы, ничего, думаю, война это, Ньюшка, не обижайся, я, может, мужика таким образом для семьи нашей спасаю, чтоб не зафлиртовать окончательно, так как дистрофиком из окружения вышел, случайный кусок хлеба или картошку Машке-спасительнице отдавал, иначе околела бы она.

Жалею врачаху. Девушкой она до меня была, думала, что по хромоте и общей некрасивости фигуры так и не пройдет во век в дамки. Но вот прошла же... Это я к тому, что надежды никогда терять не надо...

– Любишь, – спрашивает меня, – Ленечка милый?...

– Как тебе, – отвечаю, – сказать? Скорей всего, временно симпатизирую с уважением и фронтовой лаской.

Плачет врачаха, но целует меня до потери сознания, спасибо, говорит, за правду, Ленечка, спасибо и за то, что ты есть у меня на войне среди горя, крови, подлости, мужества и безумия... Все, поверь, счастье мое в тебе, и жизнь без тебя я вторую жизнь считать буду, добавочной, умирать соберусь когда – за одного тебя спасибо Богу скажу, если Он есть...

Естественно, попала врачаха моя. Доложила по глупости и честности начальству. Но и рада была до остервенения. Есть, шепчет мне, Бог, есть, если посреди исторической скверны, в костоломке и воплях растерзанной народной плоти, в слезах наших и бесконечной униженности зачинаем мы с тобою, Леня, новую жизнь... Леонида Леонидыча тебе рожу и ни словом не упрекну в вечной разлуке, радость моя случайная...

Ну а Втупякин, начгоспиталя, аборт велит врачахе – имя я ее тоже позабыл от контуженой памяти – срочно и безоткладно делать любыми средствами. Расстрелом грозит, гад... Она – ни в какую. Здесь, говорит, рожу, на рабочем месте, и на все меня хватит: на войну и на дитя любимого человека. Война, говорит, не отменила жизни, а лишь изуродовала ее... как и советская власть...

Последние слова, правда, она исключительно мне говорила, в обнимку, в холодном врачебном своем кабинете, любя меня, жеребца беспардонного, всею душою...

Давит Втупякин и на меня, и на нее по-фашистски, с человеческим смыслом случая не желая считаться. Из себя выходит. Кишку у падлы защемило оттого, что счастлива баба, а мужик у ней очень красив даже в безногом виде. Не Гитлер у него, у сволочи, враг теперь, а бабенка и раненый солдат, не служебные заботы насчет бинтов и ваты его одолевают, но ненависть какая-то глухая к тому, что к жизни имеет касательство... Уймись, говорю, товарищ Втупякин, Сталину все известно насчет фронтовых подруг, и не давал он приказа новое поколение людей в абортах ликвидировать. За аборт нынче из жопы ноги выдирают у тех, кто на них подталкивает. Понял? И не будь вредителем материнства в нашей стране...

Отстал немного, на комиссии меня задергал, но спасала меня от них врачиха с анализами, хоть Втупякин до пены в зубах крысиных доказывал мое моральное разложение и что я здоров как бугай...

И вот тут-то телеграмма, что странно в военное время, приходит мне из сельсовета. Вот какая ужасная телеграмма:

ОТВЕТ СООБЩАЕМ ВДОВУШКИН ПЕТР СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ СОГЛАСНО ПОХОРОНКИ ВДОВУШКИНА АНАСТАСИЯ ПОГИБЛА ЭШЕЛОНЕ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ГОРОД ПОБЕДА НАМИ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА/ПОЛЯКОВА.

Читаю телеграмму и валюсь на пол в корчах и истерике, бьюсь головою обо что попало, подохнуть желаю на месте, и нету снова в глазах моих света, а в ушах звука – контузия вернулась... Связали... Лежу где-то в тишине и в темноте, не помер ли, прикидываю. Очень уж похоже на смерть, как бабка Анфиса обрисовывала. А она раз пять за свою жизнь помирала от всяких бед и болезней. Очень похоже на смерть: болит то ли тело, то ли душа, а кругом ничего не слышно и не видно... Потом руки врачихины почувал... Если б не они, может, и загас бы я тогда от тягчайшего горя, словно свечка на печальном сквозняке... От рук врачихиных, как вода в горло, жизнь в меня тогда возвращалась. Оживало все в нутре и снаружи... Но как руки-ноги обмороженные свербят невыносимо при отогреве, так и душа ныла от возвращаемой жизни. Невтерпеж...

Голос вернулся вновь, а в глазах забрезжило, звуки до ушей донеслись.

– Ковырни, говорю, пока не поздно. Я от тебя не отстану, проблядь уродливая, – Втупякин это давить продолжал на мою врачиху.

– Аборта делать не буду. Хватит и без него смерти вокруг. Ясно? – это она ответила. Заскрежетал я зубами на Втупякина. Встать, на его счастье, не смог...

Подходит тут она ко мне и радуется, что не бессмысленный у меня вид... Вечером в кабинете спирту она из заглазника достала, налила мне, пей, говорит, Леня, что ж теперь делать? Война, родимый...

Ударил меня пьянь в голову, зло взяло, показалось, что возрадовалась врачиха такому повороту судьбы с Нюшкиной гибелью и что я, следовательно, теперь в руки к ней перехожу со всеми потрохами. Куда ж мне деваться?

Ну, я и психанул, сорвал зло на невинном человеке, как это всегда бывает у оборотов вроде меня, сорвал... Много бы сейчас отдал, чтобы не было тогда хамства этого с моей стороны... Я что, подлец, заявил, хоть и понимал, что сам тому не верю? Ты, говорю, не лыбься. Думаешь, теперь я твой навек, если вдовым остался? Выкуси вот и снова закуси. На чужом горяшке счастья не выстроишь, врачиха... А ты прости меня, Нюшка, Настасья, Анастасия, прости блуд прифронтной и бессердечную измену супруга своего – подлеца высшей меры, кобеля проклятого... Что ты, говорю, уставилась на меня, ровно давно не видала? И не гляди в мой адрес, яду мне налей, чтоб заснул я и во сне отдал концы, жить не хочу, кончилась сила жизни... Я тебя не люблю, а так встречаюсь, в шутку...

Ни слова в упрек не сказала врачаха, но побелела лицом и отстранилась от меня душою. Почуял я тот холодок, спьяну отмахнулся от раздумий и еще стакан чистого врезал, родил именно в тот раз в себе алкоголика. Это точно. И поплыл, повеселел – море по колено, горя-беда не видать, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...

Уснул в слезах и слюнях... Больше мы с ней никогда не спали. Она не желала, а я не настаивал. Не тем душа была занята, маршал, не то что у тебя с телефонистками и шифровальщицами...

Что же делает тогда Втупякин? Поначалу меня, сатана сушая, выписывает и в колхоз направляет вместе с Машкой. Протез, говорит, почтой тебе пришлю, кобель. Протеза калеке не дал, враг и палач народа, дожждаться. Чем он лучше Гитлера? Того хоть сожгли – и нет его. А ведь этого пакостника, эту мразь, ничем не изведешь.

Простились с врачихой по-хорошему, писать, говорю, тебе буду. Не пиши, отвечает. У меня у одной на все сил хватит, а любить, слава Богу и тебе, есть кого. Только бы родить. Леня... прощай, не спивайся, спасибо тебе... прощай...

И тебе спасибо за меня и собаку... Такой у нас разговор был...

Документишко мне чистый выправили, жратвы на дорогу дали, врачаха четвертинку напоследок в карман сунула, и направился я в один обком за направлением. Хотелось мне поближе к Лениной могилке. Для своей деревни я теперь умер, погиб как бы смертью храбрых. Решил новую жизнь начать, как говорится, с погоста... О ней немного погода, маршал.

Пишу из колхоза письмо дружку по палате. Ему все, кроме руки левой, оторвало и мотню задело. Приезжай, пишу, плюнь на свою бабу, раз она от тебя такого отказалась. Значит, сука она, так и так, и все равно скурвилась бы от тебя впоследствии, будь ты хоть с двумя парами рук и ног и с запасной женилкой. Приезжай, друг, баб тут у меня под рукою – тыща, найдем порядочную и неприхотливую, будь уверен. Тут такие имеются вдовы, что им лишь запах наш мужеский необходим, а на остальное начхать... И как там врачаха моя? И что с ней и с ребеночком в животе? Ответь, друг, я перед нею виноват душою... Пишу другу, а сам от общей сиротливости плачу, как вот сейчас, и кляксы все обвожу кружочками и обвожу...

Ответ вскоре приходит в треугольнике... Слушай, маршал, и сотрапезникам своим передай, может, обомрут они от немыслимого, от того, от чего сейчас гирыми мне в затылок колотит и глаза затягивает гарью...

Вот что совершил Втупякин. Он бить стал врачаху мою в кабинете. Бил сапожищами по брюху, по животу живому, палач, плода человеческого не жалея нисколько.

Волосы у дружка моего аж дыбом стали – так слезно молила врачаха Втупякина остановиться и одуматься, неужели же нет в нем ничего душевного и сердечного, ведь звери даже не позволяют руку свою поднять на мать и дитя... Но где там!...

– Я, – орет дьяволина, – двух своих выбил так вот точ но из своей бабы на случай развода, чтоб алиментов не пла тить, а твоего изведу непременно, потому что ко всему про чему, по науке, он безногий должен родиться... На фронте кадров не хватает врачебных, сука кривобокая, туда же ле зет с любовью, нам дети прямые нужны, я тебе покажу лю бовь, шалава грешная...

Все это дружок мой слушал и другие калеки тоже, да что ж они могли поделать без рук, без ног и все лежачие?

Конечно, и выкинула врачаха моя тою же ночью... Беда... Седая вся враз сделалась. А может, и с ума сошла. Долго ли, маршал, с ума сойти от такого зверства?

Подходит на другой день к Втупякину, обход был, и говорит:

– Фашизм надо уничтожать на фронте и в тылу. Смерть фашизму.

«ТТ» твердо держит врачаха моя в ненавидящей и справедливой руке. Втупякин в ножки ей бросается. Исключившись весь от плюгового страха:

– Помилуй... еще десять родишь... что с того... ради фронта я исключительно... я тебе и сам всегда могу... не сумлевайся... не стреляй... под расстрел угодишь... жить, что ли, надоело?

– Фашист ты советский, мразь на нашу голову и проклятье за грех братоубийства и бунта... Смерть тебе, падаль, – говорит врачаха моя. Всю обойму всадила в Втупякина, чтобы на пять пуль он поскулил и помучился, осознавая зверство собственное, чтобы от шестой подох под «ура-а-а!» солдатское, седьмую пулю в сердце себе выстрелила... Вот и все, маршал, по этому пункту... Слезы даже течь перестали. Вытекли они полностью. Но уж что-то, а слезы заново опять наберутся... и Ленин, как оглашенный, ручку рвет, мыслей поднабрал... не терпится ему выговориться...

СРЕДНЕФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕТРАДИ

«Считаю, что работа, проведенная нашими спецорганами по расколу общественного мнения планеты, близится к закономерному концу.

Мы – неискоренимые диалектики. Наш прямой философский долг – поощрение всяческого расцвета либеральных движений вне страны, особенно в развитых до абсурда странах Общего рынка, и уничтожение, сиречь сведение на нет, последних внутри соцлага. Польша, Монголия, Никарагуа.

Господа либералы, а не мировой пролетариат, заевшийся на капхарчах, являются в данный истмомент повивальной бабкой мирового хаоса.

Они едва ли не единственная наша надежда в борьбе с активными силами сопротивления коммунизму, связывающая им (силам, прим. верно. – ВУ) руки различной тепленькой чепуховиной и архирелигиозным отношением к политической морали. Какая, спрашивается, может быть мораль в том грязном аду, в котором вы вынуждены жить до его радикальной переделки?

Всячески поощряйте тех, кто по своей имманентной тупости оказывает сопротивление не нам – уму, чести и совести эпохи, – а своим основным институтам и законным правительствам. А также тем индивидам, которые безошибочно чувствуют, чем чревато для них и их традиционных ценностей завоевание СССР (читай – КПСС, прим. мое. – УЛВ) мирового господства.

Поскольку дело это исторически решенное, необходимо уже сейчас разработать ГОЭЛРО.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИБЕРАЛИЗМА РЕВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Только младенец, связанный пуповиной с махизмом, не понимает, что после установления полнейшей, железной диктатуры партии над диктатурой пролетариата и прочей люмпен-шушерой основным ее врагом диалектически становится тот самый господин-либерал, с чьей помощью мы деморализовали силы сопротивления хаосу и коммунизму сначала в России, затем во всем мире. В господине либерале после перенесения исторических катаклизмов, кровавой бани и полного крушения всех слюнтяйских розовых иллюзий, к сожалению, просыпается чувство политической, нравственной и прочих реальностей, что необходимо мешает всей нашей благородной работе по освобождению человека от власти эксплуататоров и переделке грязного ада в светлое будущее.

Всемерно поощряйте западных либералов, особенно левого толка, к разваливанию гнилых структур их родных обществ.

Советская власть – это инвентаризация инакомыслящих и учет либералов с их последующим уничтожением, если не физически, то политически, – и никаких сентиментальных нюней и нюнешек.

Грудью вставайте на защиту партийности в литературе и в искусстве. Немедленно поставьте наших местных либералов в каторжные и даже в скотские условия существования под знаком кнута и пряника.

Нет в мире права выше прав большевиков переделывать мир. Поэтому морите господ-правозащитников, как клопов.

Неужели, разделившись беспощадно с десятками троцких, сотней бухариных и рыночных, а также с тысячей различных ищиков феферов, партия и ее славные органы не в состоянии физически (курсив мой. – Лувлич) обуздать одного физика-психопата из лагеря разочаровавшихся в нас и сообразивших наконец, как мы ловко облапошили их, либералишек? Он, очевидно, забыл, что электрон практически неисчерпаем?

Вперед к мировому хаосу. Предлагаю присвоить ему имя Маркса и Энгельса.

Какой мерзкой скотиной оказался Хафез Амин. Передайте мой пламенный привет Бабраку Кармалю. Это же глыба. Матерый человечеще.

Немедленно начинайте демонстрацию военной мощи на границах так называемой Польши. Как могло случиться, что пролетариат этой издревле русской провинции начал поднимать голову? Бить надо по ней серпом, товарищи, добывать молотом, а не садиться за стол переговоров с предателями интересов мирового пролетариата, стонущего под игом Фордов, Филипсов, Круппов, Арманов Хамеров и прочих беспринципных вырожденцев человечества.

Кстати, не мешало бы, не откладывая дела в долгий ящик, уже сейчас позаботиться о том, чтобы ликвидация господ либералов во Франции и Голландии, где они будут со временем представлять для нас весьма опасную – ввиду крушения амбиций и вспышек мелкобуржуазных обид – силу, была поручена товарищам Вышинскому и Дзержинскому. Относительно приговоров у меня с ЦК не предвидится никаких разногласий.

Почему бы товарищу Буденному не подумать на досуге об использовании сексуальной революции в наших целях? Хватит отдавать ее на откуп монополиям. Порнография – не последнее оружие в борьбе народов за прогресс мирового хаоса. Что думает по этому поводу товарищ Пономарев? Он помнит, что мне регулярно недодают фосфора, сахара и делают все, чтобы я, потирая ручки, не засмеялся, довольный?

Шав Нинел. 18 термидора 1980 года еще не нашей эры...

Мы тут, маршал, на днях подлечили немного Втупякина вместе с молодым Марксом. Потому что тот окончательно вдруг оборзел. Когда въехал ты на танке в Афганистан, у Втупякина прямо праздник был на вонючей душонке. Ликовал. Прыгал от радости, сволочь. Еще, говорит, одних мазуриков к рукам прибрали. Скоро на глобусе места для нас не хватит. Всех к ногтю приберем, вылечим капстраны от шизофренической любви к наживе.

Палату нашу вдруг уплотнил, прохода не оставил. Руки потирает, довольный. И так похваляется:

– Есть прогноз с верхов, что Сахарова к нам сюда подкинут. Палки чтоб в колеса танкам нашим не вставлял в Афганистане и политбюро не дразнил инакомыслием. Собой, сволочь, пытается подменить ум, честь и совесть нашей эпохи. Но я ему подменю. Я ему гипоталамус от мозжечка отсоединю, вражеской морде... Я ему встану поперек дороги национально-освободительного движения... Я его манию величия превращу в любовь к Родине и КПСС, забудет, что академик, навек. Аппендикс совести народной и подлец из подлецов...

Если застану кого за разговорчиками с негодяем от науки, то не жалуйтесь потом – я вас коллективно под шок отправлю и так потрясу, что зубы выпадать начнут...

Как тебе это, маршал хренов, нравится?

Решетку в соседней палате покрасил заново Втупякин и намордник на окно надел. Боялся, видать, что толпы народные демонстрацию устроят перед дурдомом... Завтра, говорит, привезу сюда в рубашке врага империи нашей, который водородной бомбы секрет продал китайцам за три пачки цейлонского чая. Прижгу я ему нейрончики, прижгу, чернила из авторучки пить станет... Я ему докажу, лысой бестии, что шизофрения – заразное заболевание, передающееся через мысли на расстоянии... Как дважды два ясно мне это. Отсюда и первая стадия такого шизо – инакомыслие... Откуда ему еще браться? Неоткуда.

– Архигениально, – завопил Ильич. – Нобелевку тебе вручим, товарищ. Ленинку на сберкнижку положим. Ма терый ты наш человечище. – А сам на шею внезапно кидается Втупякину и целует его в обе щеки, целует взасос, так что Втупякин только мычит от ужаса и к дверям пятится, и вдруг как заревет на весь дурдом «мы-ы-ы-ы-ы-ррр».

Санитары прибежали, оттащили Ильича, под дых как дали ему. Он и провалялся в отключке целые сутки, только постанывает:

– Зарезервируйте, товарищ Цюрупа, мой продрацион до конца эссерского мятежа в Черемушках.

Ну, мы ждем, разумеется, когда привезут к нам честного гражданина Сахарова. Сигарет для него выделили. Молодой Маркс кусок колбасы докторской под кровать засунул. Плачет целый день и слова говорит, я тебе еще передам их, генсек – главный врач сумасшедший нашей страны... Ждем...

Втупякин в костюме новом ходит и без халата, чтобы значок был виден «Отличник госбезопасности» и ордена с медалями прочими. Ручки, повторяю, потирает, довольный. Ленина привязать велел на три дня к коечке.

– Я тебе, стервец, покажу, как лобызаться с медперсоналом клиники.

– Да здравствует советская психиатрия, – орет в ответ Ильич, – самая квазигуманнейшая в мире во главе с товарищем Втупякиным. Дружно подсыпем аминазина в продукты польским товарищам – этой змее на груди социализма... Ура-а-а...

А Маркс, вроде меня, все плачет и плачет и Фридриха на свиданку зовет, Гегеля почему-то проклинает и философию нищеты критикует.

Но тут узнаем мы, что ты, маршал, велел Сахарова в город Горький выпереть ровно в четыре часа. Втупякин аж почернел от злобы. Тебя самого лечить, говорит, надо от страха перед мировым общественным мнением, от фобии, порожденной американскими сенаторами... Тебя-то он чех-востит почем зря, а всю злобу на нас, несчастных, срывает. Зверствует просто. Чай приказал холодный выдавать и ноги по-йоговски за шею закладывать. Неслышанная зверюга. Очень он, гаденыш, надеялся на всемирную славу, если б Сахаров в руки ему попал. Бахвалился нам, что через неделю алфавит академик забудет и имя вредной своей жены Елены, а тут ты его, маршал-писатель, здорово подкузьмил, в натуральную величину, можно сказать, уши заячьи зама-стырил паскуднику человекообразному.

Ворвался ни с того ни с сего в палату с санитарями, раскидал всех в разные стороны, веревками побил, сигареты растоптал, свиданку с женой запретил молодому Марксу.

Маркс говорит мне:

– Слушай внимательно, движущая сила истории, я тебе сейчас идею подкину, она тобой овладеет и станет материальной силой, но не в смысле прибавки пенсии, а вот как. Я тут истолок аминазина и пертубанитромукодозалончика в порошок. Ты завтра подкинь его в пиво Втупякину. Только впритырку. Когда мы его маневром увлечем из кабинета. Понял?

– Не сомневайся, – говорю, – парень. Пора Втупяки-на с головы на ноги перекантовать, иммунизировать чудовище в ранней стадии.

Вызывает меня Втупякин на следующий день про родственников вспомнить и мои отношения со светилом-Лунной. Поскольку выяснилось, что при ущербном месяце я как-то странно мочусь и с задумчивым видом. И Втупякин приказал в полнолуние сосуд ко мне висячий на ночь привязывать.

В общем, сижу у него, толкую всякую чушь от скуки про Луну, а он пишет и зубами скрежещет:

– Вы у меня, сволочи, попляшете от моей диссертации.

По трупам пройду в член-корреспонденты, гады ползучие!

Вдруг слышу грохот, треск, звон стекла и громоподобный голос молодого Маркса:

– Я тебя, падаль картавая, на свалку истории коопти рую! Ради балеринки Кшесинской позорную заварушку устроил в Питере. Развратник! Скотоложец! Ты лошадь от бил у Буденного!... Мразь брюменерская!...

Втупякин туда сразу помчался, ремень на ходу снимая. Он очень любил им нас поколошматить. Только бы повод был и без повода, например, на выборы в Верховный Совет СССР.

Помчался он на шум, лиходей, а я ему в бутылку открытую-недопитую порошок кидаю и размешиваю до приличной пены. Пива Втупякин ужас сколько потреблял, а мочиться, что удивительно, никогда не мочился. В нем пиво в печени сразу в желчь превращалось и разливалось в мозгах. Поэтому он таким бешеным стал.

– Немедленно сообщите товарищу Дзержинскому, чтобы он выделил отрядик для ареста карлика-маразматика, – визжит Ильич, и только слышно, как порет его Втупякин ремнем: вжик-вжик по коже. Потом за Маркса взялся, а диссиденты орут:

– За каждую царапину отчитаешься, садист.

– Рожа твоя всю мировую печать обойдет, свинья двурогая.

За стекло, грозится Втупякин, вычесь денежки из капитала Марксового. Тот действительно хотел выкинуть Ильича на помойку. Хорошо, что не порезал вождя нашего. Попало обоим.

Приходит Втупякин в кабинет весь потный, и пахнет от него нехорошо. Дожирает пиво из горла. За стол садится и снижает постепенно. Носом клюет, сигаретой меня угощает, чего никогда раньше не случалось, – в общем, на глазах зверь в приблизительного человека воплощается.

– Иди, – говорит, – на сегодня хватит. Скажи Марк су и Ленину, что погорячился я слегка. И чтоб порядок был во вверенном мне помещении. Не то всех цианистым калием выведу, как антинародную моль. Пошел вон...

Целых три дня ходил спокойный Втупякин, про Сахарова совсем позабыл. Палату нашу опять разуплотнил, но больше я ему химии в пиво не подсыпал. Маркс решил, что хорошего понемножку... Вот какие дела, а Сахаров все равно поумней вашинского политбюро и скоро вместо Косыгина сядет. Тогда, может, и колбаски вдоволь пожужим...

Вот еще одного голубчика подбросили нам новенького. Койку в проходе поставили. Этот блаженный думает, что обезьяна он шимпанзовая.

– Неужто не видите, – говорит, – как я на ветке баобаба сижу, насекомых ищу? А сейчас банан лопаю. А-а-ак. Смотрите, макаки, самка моя чешет ко мне с водопоя. Врублю я ей сейчас в тенечке...

– С этим все ясно, – говорит диссидент Гринштейн, – у него ярко выраженный синдром политбюро: нервно принимает желаемое за действительное с последующей ненавистью к демистификаторам.

А Обезьяна что делает? Онанизмом, маршал, на глазах у нас с большим настроением занимается, нисколько не стесняясь даже Втупякина. Он лишь лыбится и подшучивает:

– Руку менять не забывай, с ветки, смотри, не сорвись. А Ленин, который сам по этому делу хороший специа лист, протестует:

– В дни, когда весь мир радостно ожидает суда над американскими заложниками, архипаскудно откатываться в нашу обезьянью предысторию. Стыдно, товарищ Обезьяна, стыдно. Надо смирять реакционные желания.

– Помолчи, картавая сковородка, дай человеку кончить, – Маркс вмешивается.

– Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара украла у Карла Маркса кларнет, – возражает ехидно Ильич.

– Нет, не придем мы к победе коммунистического труда, – говорит Карла.

– Придем. Придем. Вот и товарищ главврач подтвердит.

– Это не за горами. Придем. Таблетки только, гады, не сплевывайте. Шоками изведу. Имена свои забудете, – под-тверждает Втупякин.

– М-да-а... Над нашим прахом прольются слезы благодарных людей, – возражает Маркс, и Втупякин, ярьсь, грозит ему:

– У тебя в квартире на обыске сочинения молодого Маркса вчера нашли с пометками. Знаем теперь, где нахватался ты этих цитирований, симулянтская харя. Не пройдет этот номер. Не таких подонков раскалывал я здесь, двое Александров Македонских, четверо Маяковских, несчетное количество Микоянов и Молотовых прошло через мои руки, и все фамилии, заметь, на букву «М», так что я и с Марксом какнибудь разберусь. Сволочь, симулянт.

– Убить меня мало, – назло ему сокрушается Карла, – разве можно было русский перевод «Капитала» не назвать «Состоянием»? Неужели советская медицина и психиатрия не исправит этой грубой политической ошибки? Господин Гельмгольц, вы представляете себе наши окрыляющие перспективы?

Диссиденты тут дружно хохочут, я тоже робко улыбаюсь, но в споры не влажу... Не до того. Помог в тот раз из горла у Маркса зубную щетку вытаскивать: Ленин туда ее засунул внезапно. Никто предупредить не успел.

– Я за чистоту наших рядов, – вопит Ленин. – В пасту томатную превратим молодого Маркса.

Подходит санитар – человек без лица, просто никак не удастся разглядеть физиономию у этой фигуры. Как так можно без лица?... Шприц всаживает Ленину в руку, следующий укол Марксу. И тишина устанавливается.

Ужин хлипкий несут. Таблетки на ночь. Телик включают: программу «Время» смотреть, ума набираться, международное положение понимать в нужном духе... Я же предпочитаю вздремнуть, чтобы встать посреди ночи и продолжать свои для тебя объяснения, маршал...

Понял ты наконец, что Втупякин с врачом моей сделал? Понял?...

А в колхоз я следующим образом попал. Заявляюсь в райком партии. Секретарем там, конечно, Втупякин был. Я и не удивился. Сам приучал себя к тому, что иначе не может быть до некоторых удобоваримых времен.

– Ну что, раненый, скажешь? Небось на печи валяться задумал и на лаврах достигнутого почивать? Не выйдет. Председателем идешь в Заветы этого самого Ильича. Понял?... Ты не из самострелов случайно? Есть у меня в районе и такие прохиндеи. Но не дождались они гибели нашей. Все силы – для победы над врагом. Накормим фронт. Каждое зерно – государству, каждое kilo мяса – Сталину. Победа будет за нами. Справим на нашей советской улице масленицу и на жидах напляшемся.

– Зачем, – спрашиваю, – на жидах плясать? Их ведь вроде Гитлер изводит зверски.

– Больше нашей партии плясать не на ком чисто исторически. На татарах и чеченах не напляшешься. Популярности у них в нашем народе мало. Лучше пушай на жидах попляшет, чем на нас – на советской власти, которую он, чую я это ежедневно, ненавидит по вредной политической темени... Прислушивайся там к нему. На заметку бери. Ежеквартально должен ты как председатель под следствие отдать одного человека.

– За что? – спрашиваю.

– За воровство, саботаж, укрывательство скота, разговорчики, ненависть к Сталину и нашей партии, отказ бурный подписаться на заем и выдать наворованное в фонд победы над врагом.

– Вдруг, – говорю, – преступлений таких не окажется?

Засмеялся Втупякин.

– Так не бывает, чтобы их не оказалось.

– Всех пересажаем – работать кто будет?

– Освобождающихся скоро начну тебе присылать. Все до одного – враги народа.

– Значит, – говорю, – сажаем народ, а выпускаем врагов народа? Как так получается?

Прибыли от этого никакой.

Задумался Втупякин. Даже слюни от натуги мозговой с губы свесились.

– Ты не контуженный случайно? – спрашивает.

– Немного, – говорю, – задело.

– Оно и видно. Тебя самого за сомнения провокационные брать можно... Поехали в «Заветы Ильича»... Почему в те места просишься?

– Воевал я там... Друга как раз возле Прохоровки захоронил...

– Фамилия друга?

– Вдовушкин Петр.

– Знакомое что-то... Поехали в «Заветы», чтоб они на хер были надеты. Одни партизаны собрались там на мою голову...

Приезжаем. Название, конечно, у колхоза, думаю, дерьмо. С таким далеко не уедешь... Собрание созывает Втупякин, видимость колхозной демократии выставляет... Господи. В колхозе-то одни сплошные бабы, маршал. Бабы да пацаны махонькие, от последней ночи, от мобилизации бабами рожденные. И старухи. Старики померли и в партизанах сгнули. От мужиков – ни слуху ни духу. Без вести мужики тогда все до одного пропали. В плену небось, подумалось мне тогда... Беда... Народная, кровавая беда...

– Работать, – говорю, – бабы, будем. Делать больше нечего. Возродиться надо. Родина голодает. Победим скоро...

Проголосовали за меня бабы. А работать, говорят, не на чем. Ты же, Втупякин, сам всех жеребцов на фронт приказал угнать. Буденный – дурак – под танками угробил их без толку. Кобылы одни остались. Бесятся в течку. От меринов же ленивых жизни ждать не приходится. Трактор нам дай.

– Механизации вплоть до победы над врагом не ждите, бабы. Выписал я вам сюда в подмогу ешака из Ташкента, где жида от крематория спасаются. В пути ешак, по наряду Совнаркома СССР. Он вам тут понаделает жеребят. Ярый мужик, а не ешак. Всех огуляет. Кобыл только успевай под ставить, – говорит Втупякин... Посмеялись, за что люблю я лично свой народ, маршал.

Самогонкой нас бабы с Втупякиным напоили. Картошки с салом изжарили, вспомнил я горько и сладко, как Нюшка моя около печи гоношила всякую всячину, а я в озорстве похлопывал ее и поглаживал... Вздыхаю от всего сердца, где, говорю, жить буду, бабоньки?

– Сегодня, – отвечает одна, – у меня заночуешь. Я бригадирша. Завтра – у Плеханихи. График любовный составлен, чтоб обидно не было. – Хихикают бабы похабно и весело.

– Как так, – говорю, – я не согласен. Что я вам – кобель гулевой, что ли? И не нанимался... Может, я и не могу вовсе от контузии?

– Молчи, Байкин, – говорит Втупякин. – Выполняй волю женской части народа. Не прикидывайся полом, вышедшим из строя. Вон ты ешак какой. Если б не партийная работа, сам остался бы тут. Все мои председатели вдов веселят, поскольку народу много на фронте полегло. Восстанавливать срочно его надо. Приказ Сталина. Воля партии. За невыполнение – к стенке... саботаж... вредительство... гуд бай, дорогуша.

Бабы же прямо по производственному выступали. Жизнь, мол, наша пропадает... Детишков хотим... головы без мужиков кружатся... Низ живота болит... Ужас что снится по ночам... Нервы... И Сталин, оказывается, гнушаться нами не велел до самой победы...

Чтоб, думаю, у этого Сталина по херу на пятке и на лбу выросло, пушай помучается, штиблет шевровый натягивая и фуражку маршальскую на башке пристраивая... Что мне теперь делать?

– Не кочевряжся, председатель. Был женат-то?

– Вдовый я... Погибла баба в бомбежку.

– Вот и помянем ее давай, а заодно и мужиков, которые грудью встали на защиту социалистического отечества – друга всех угнетенных народов и надежды всей Земли. Все – для победы над врагом. Наливай, – говорит Вту-пякин...

Ну выпили. Патефон бабенка одна завела. Танцевать повела. Топчемся, топчемся под «кукарачу» какую-то. Вальс кружим под «Синенький скромный платочек», но какие танцы с калекой? Одной рукой костыль прижимаю, другой – бабенку. Что делать, думаю?

А делать было нечего. Я мужик не железный, я живой и к бабам жалостливый весьма, через что и потерепел в свой час... Заночевал я у этой танцевальной бабенки.

Лежу с ней, а сам о Нюшке мечтаю... Прощай, жена... будь ты жива – век бы не скурвился... А так... жизнь есть жизнь... И чья это проклятая воля, что разметало всех нас по белу свету на погибель и муки, на унижение земли нашей и напрасное расточительство молодости? Прости меня, Нюшка, на том свете... там с этим делом полегче, чем тут, в колхозе, тут жизнь продолжать надо как-никак, прости...

Но разврата, маршал, не было там у нас никакого. Все строго, чинно, по графику и без смехуечков. В правлении график висел. Я ему и соответствовал два-три разочка в неделю и по праздникам большим, типа Первое мая и Седьмое ноября, будь оно неладно... Порядок был определенный в этом деле. Банька, рюмочка-стопочка, разговор по душам, слезы бабьи, «Синенький скромный платочек»... ну, идем, милая, не плачь, дура, возрадуемся, раз живы мы, хоть и в беде по самые уши...

Но и имелась у меня бабенка особенная. Когда график ей приспел ночевать, она так заявляла:

– Жду я Трошу своего. Поэтому лишь переночуем вместе, поцелуемся, Леня, чтоб жить не страшно было, больно не вмоготу без ласки, а кроме этого – ни-ни, ничего у нас с тобой не будет, пожалуйста...

Я и уважал...

Живу в этом смысле, как царь персидский или киноартист Николай Крючков какой-нибудь, вроде Лемешева.

Работаем с утра до ночи. Тыл кормим. Фронт кормим. Сами еле-еле концы с концами сводим.

Тут действительно по наряду Втупякина ешака из Ташкента к нам завезли. Ревучий зверь, упрямый. Намаялись мы с ним. То он кобылку не желает, то она его лягает обоими копытами и куснуть норовит. Откуда, думает, образина такая взялась на мою голову длинноухая и нескладная?...

Ешак, конечно, по глупости природы, мелковатого роста был животное. Пришлось мне мозгами пораскинуть слегка, рационализацию в жизнь провести. Трибуну как бы выстроили мы для ешака. Ну, а дальше он сам соображал, что к чему. Тут большого ума не требуется. Жизнь везде свое берет... А мы с бабами подержались тогда за животики... Жеребчики вскоре от семи кобыл появились у нас. Мулами приказал называть их Втупякин, мне медаль «За трудовые заслуги» самолично вручил на собрании, а через неделю чуть не посадил, сволочь. Дура одна из комсомолок надумала телеграмму послать Сталину, что посвящаем ему всем колхозом в фонд победы над Гитлером тягловое животное новейшего типа – полу-ешак, полулошадь, желаем вам сто лет жизни, дорогой друг, отец и учитель...

Телеграмму, конечно, НКВД перехватило – и на стол Втупякину, а он меня дергает в райком и допрашивает:

– По чьей указке составлялась телеграмма? Что вы этим хотели сказать, мерзавцы? На кого намекаете? Забыли, в какое время живете? Кому, как говорил Ленин, это выгодно? Забыли, что у нас капиталистическое окружение и бдительными надо быть даже в сортире на оправке? Вы здесь только жрете-пьете, а люди на фронте кровь проливают.

Тут эта самая кровь в голову мне ударяет, замахваюсь костью, прибил бы гада, но люстра, на мое счастье, помешала. Однако притих Втупякин. Такие звери, как он, очень силу и бесстрашие уважают и с удивлением их порой рассматривают, вроде чуда.

– Ладно, инвалид, садись, водки выпей, закуси и проваливай посевную заканчивать. Как закончите, чтобы телеграфная писательница оформлена была как антисоветчица, и что мечтала по заданию гестапо, куда была завербована в оккупации, испортить настроение товарищу Сталину в разгар контрнаступления на врага. Ясно?... И не возражать. План НКВД – это план всего народа. Не то сам пойдешь туда, где девяносто девять плачут, а один пляшет. Выполняй. Донос чтоб через три дня был вот на этом столе. Скажи спасибо, что не посадил за покушение на мою личность в военное время. Понял?

– Ничего, – говорю, – не понял. Пусть НКВД людей сажает, а мое дело – хлеб сажать да картошку. Не буду писать донесений никаких. Работать и так некому.

– Выполняй, Байкин. Три дня даю сроку. – Кругом а-а-арш.

Созываю баб. Что делать, как говорил Ильич, спрашиваю, бабы? Как быть? Насадил нам в наказание начальничков безумных и осатанелых, что за зараза в них проникла? Неслыханные люди. И зачем ты, Пряжкина Лиза, на свою и на мою головы телеграмму эту проклятую начирикала? Пиши теперь всю правду, как есть, не то хуже будет. Раз пристало НКВД, то ни за что не отстанет, пока не посадит. Миллион, если не больше, таких краснолицых комсомолок уже томится в каталажках. Коммунистов же там – видимо-невидимо. Телеграмму надо отцу с матерью посылать, а не начальству.

– Ладно... хорошо... я подумаю, – говорит Лиза Пряжкина, а сама лицом посерела вся и вообще осунулась... Втупякину дозваниваюсь.

– Осознала, – говорю, – отпусти ты ей грех неосознанности молодой, без нее пропадем, ешак никого больше не уважает, и мулят-жеребят любит Лизка всей душой, в конюшне ночует.

– Выполняй, Байкин. НКВД не может простаивать без дела даже во время войны. Раз нету жида для ареста и всякой белогвардейской сволочи, значит, надо сажать своего человека. Он и в лагерях останется советским, несмотря ни на что. Я в этом лично убедился, будучи в органах. Это говорит об объективной силе сталинского учения, мать твою так, ты сам небось из недовольных? – орал в трубку Втупякин. Плюнул я на все со зла. Ничего отвечать не стал. Без толку отвечать этим людям. Да и человеческого-то не осталось в них нисколько, новая какая-то порода, вроде наших полу-ешаков. Только полу-ешаки работать будут на людей и полюбят нас, надеюсь, а Втупякины лишь ревут, глаза кровью налиты,

нету для них большего удовольствия, чем засадить невинного человека. От чужого горя, очевидно, понимание в них возникает, что сами они до таких верхов добрались, откуда безнаказанно можно творить беззаконие отвратительное, облизываясь, на людей за решетками глядячи. Подлецы, из говна собачьего в князи попавшие. Господи, ответь: за какие грехи, чтобы легче хоть было немного, чтобы хоть покаяться было ясно за что. Неужели ж такого мы напакостили, что держишь Ты нас в неведении и контузии с потерей звука и света?...

– Живи, – говорю, – Лиза, спокойно, выкинь из головы сомнения, все пройдет. Корми ешачков своих...

Являются через пару недель двое энкэвэдэшников в портупях – сапоги надраены, ровно тут бал у нас, а не всенародное страдание, паразиты окаянные, Лизу арестовали. Обыск произвели в доме у нее и ночевать остались. Там же и ночевали, сытые хари. Выпивал я с ними. Взятку за Лизу обещал крупную – целого поросенка. Ладно, говорят, подумаем. Напились в дребадан. Я ушел. А утром бабы прибегают ко мне: Лиза удавилась. Если б не пистолеты – разорвали бы бабы псов и сожгли бы, как Дубровский в кино, псов этих трокуровских там же в доме. Не знаю, как дело было, но ночью слышали соседи, как кричала Лиза. Потом смолкла. Собака ее завyla, за ней другие, и Машка моя туда же, исскулилась вся, спать не дала с похмелья, стерва... Ну пришли бабы к Лизе, смотрят: псарня валяется пьяная в блевотине своей, с жопами голыми, а Лиза в сенцах висит на красненьком шарфике. Изнасилована она, маршал, была... Ну, как? Кто им директивы давал так поступать? Ленин? Сталин? Берия? Микоян? Каганович?

Отбились кое-как от баб, сволочи. Еле ноги унесли, протокола даже составлять не стали о самоубийстве... Лизу же похоронили мы по-христиански, грех на душу взяли, потому что не сама себя порешила она, а изглумились над ней паршивые морды с асмодейскими лицами. Вот тебе и весь марксизм с ленинизмом. Лиза бедная, чего ты там в нем нашла хорошего, что пуще отца с матерью любила, тряпицами красными хари ихние на портретах разукрашивала, песню пела: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Помянули мы Лизу. Рассоветовал я бабам жалобу Сталину писать. Сам он такой, но вы этих слов не слышали, и выкормыши евонные так же зловредны, подловаты и низки душою. Жаловаться бесполезно, лучше выпьем за победу и чтобы избавил нас Господь от всех паразитов и карателей. Может, доживем до этого, если жить будем стараться, а не унывать. Помянули мы Лизу от души. В следующий раз, думаю, Втупякин-падла, я тебе устрою дело. Я тебя подведу, сука, под монастырь с твоими опричниками, сожгу своими руками и помучаю еще напоследок, чтобы ты признался бабам и мне, как планы вы тут по посадке русского народа выполняете, видимость службы создаете, чтоб на фронт вас, тварей беспардонных, не взяли из НКВД. Ради только этого и стараетесь ведь, гады ползучие. Человека посадите, дело пришьете ему и с мордами занафталиненными в тылу околачиваетесь, пакостничая и в разврате... Совершенно это мне теперь ясно, и знаю я, что за блевотина за вашими красивыми словами... Конечно, устрашили вы нас до скотства, что ни пикнем мы, ни чирикнем, когда вы творите произвол и оскорбление, молчим, ровно тигры в цирке, но не можете вы не сгинуть с земли нашей в конце концов, доживу ли до этого – не знаю, но молюсь, чтобы, перед тем как сгинуть, не навредили вы ехидно людям последней пакостью, мором и голодом...

Такое было дело, маршал... Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов. Поназывали их бабы в честь мужиков, в память по ним, Васьками, Кольками, Федями да Иванами. Благодаря моей хозяйственной жиле имели мы трех неучтенных коров для ребятни. Купил я их в городе у охранника за тридцать литров самогона... Выпили с ним, я и говорю, что все ж таки есть польза от соци-

алистической собственности. Есть хоть что воровать, а то подошли бы с голоду давно уже... Это верно, говорит охранник. Десять лет охраняю. На фронт вот не взяли за такой стаж и опытность в охране...

Растут себе пацаны. Даже не ведают, что имеется на свете такая персона – папашка. Видят только мужика одноногого и прикидывают, что самый главный он здесь, раз палка у него вместо ноги выросла.

Мулы подросли тоже. В дело пошли. Работящая скотина, но печальная какая-то, какая-то нерусская, копытом не взбрыкнет и с огоньком оком лукавым не покосит, не поиграет под тобою, не всхрапнет боевито, не заржет родимый так, чтоб все твои поджилочки сладко замлели.

Тут войне конец подошел. Являются двое из плена. Без вести с самого сорок первого пропадали. Приглядываются к колхозной нашей жизни. Пацанов моих прижитых начинают анализировать... Затем подкарауливают меня и принимаются зверски мудохать за мое же милосердие и жалостливость души. В поле мудохали ночью. Что я на одной ноге сделаю с ними? Ничего. До смерти прибили бы. Бабы случайно спасли. Думал – помру. Зубы передние выбиты. Нос поломан в сосиску. В глазах кровоизлияние, и кровью харкаю. Ребра, чую, сломаны, и яйца, как говорится, всмятку. По ним метили. Сука, говорят, мы в аду кромешном были, а ты тут на печи бабье наше огуливал, хряк зажавшийся...

Спасли меня бабы. Но мужики добились бы меня как пить дать, извели бы вскорости. Однако явились вдруг те самые энкэвэдэшники, которые Лизу изнасиловали, забрали бывших пленных как предателей Родины по приказу Сталина. Жаловаться на них я не стал. Не легавый я человек. Просто судьба такая.

Ну а за могилкой Лениной, то есть как бы за моей, Петра Вдовушкина, глядел я исправно... Изгородь голубенькая.

Столб кирпичный со звездой красной, потому что телеграмма пришла – крест могильный ликвидировать ровно в двадцать четыре часа... Березка над могилою выросла. В скворечнике птицы живут. Улетают, прилетают, улетают, прилетают и поют. Ради могилки этой я ведь в здешний колхоз прибыл.

Зажили вскоре мои раны очередные. Тут Втупякин приезжает и говорит:

– Дорогие товарищи. Прах солдата Вдовушкина на пле нуме обкома нашей партии постановлено считать прахом Неизвестного Солдата, с перенесением в городскую моги лу, куда мы подводим вне плана Вечный огонь. Мрамор так же выдан для этого дела и немного бронзы отлить бумбетки. Большая вам оказана честь, товарищи, и вы уж ответьте на нее легендарным трудом со сдачей государству сверх плана зерна и мяса. Да здоровствует родной и любимый то варищ Сталин – корифей всех стран и полководец прогрес сивных народов доброй воли. Мы смели с дороги к комму низму фашистские преграды, и теперь нам открыта туда вечно живым Ильичем зеленая улица. Ура-а-а.

Я – на колени перед Втупякиным. Как же так? Какой же прах неизвестный, если он вполне известен как Вдовуш-кина Петра боевые останки. Это фашизм какой-то – делать известное неизвестным... Чуть про ногу свою не брякнул во гневе:

– Молчи, Байкин, не то посажу тебя за антисоветскую пропаганду и агитацию. Молчи. Не вставай партии нашей поперек дороги. Скажи спасибо, что мы этот не совсем наш прах по ветру не развеиваем. Отец-то Вдовушкина расстре лян был, докладывало мне МГБ. Но я лично настоял на захо ронении в качестве Неизвестного Солдата. В какой еще ка питалистической стране, где человек человеку волк, могло произойти такое душевное событие? А здесь мы стройку начнем оздоровительного комплекса.

Ну, как тебе, генсек, твои коммунисты херовы? Что, ты думаешь, выстроил Втупякин на месте моей, то есть Лениной, могилки, на месте поля боя и всенародной беды? Три

дачи для обкома и для себя самого, разумеется. Вот что. Какие же вы все-таки все бессовестные оказались, до власти дорвавшись. Ай-ай-ай, маршал. Для этого, выходит, мы руки-ноги теряем и головы?... Но ладно. Живите, гуляйте. От ответа все равно не уйдете, если не на этом свете, то на том. Поскрежете зубами. Польши ничтожной по размерам вы перетрухнули, а уж какую кучу в галифе натрясете, когда наша рабочая скотинка взбрыкнется, думать весело. А взбрыкнется она точно в свой час: не может у пуганых-перепуганых не лопнуть терпение. Недаром дурачок наш Ленин целый день сегодня морзянку в Кремль отстукивал:

Борьба с польским пролетариатом – это борьба за наши собственные шкуры, товарищи, за святость Учения и укрепление власти правящей партии. Срочно расстреляйте десятка три особенно оголтелых профсоюзников, чтобы другим не повадно было противопоставлять свою мещанскую программу нам – уму, чести и совести нашей эпохи. Сегодня – Польша, завтра – Венгрия и Румыния, послезавтра – чехи и монголы, через год-другой придется мне на Путиловский ехать, уговаривать смутьянов вернуться к станкам и поточным линиям? Сегодня наш лозунг «Партаппаратчики, все как один на борьбу с рабочим классом социалистических стран». В этом залог того, что мы с честью выйдем из нового, суровейшего исторического испытания, эрго, – из периода предыстории.

Вот что он на морзянке отстукивал. Но ладно...

Раскопали вроде Ленин прах с лишней моей ногой. Бабы еще перепугались, что там три сапога оказалось... Не могу об этом... Забился я в конуру свою, никого, кроме Машки, не подпускаю и пью горькую. Машка же скулит, потому что одно дело гангрену у человека зализывать, а душу растерзанную зализать – совсем другое. Попробуй залижи ее, если я запечалился, виноватый в Лениных пертурбациях из родной могилы куда-то под мрамор с Вечным огнем.

В общем, как говорит Маркс, закономерно спился. Спился до чертиков, до говорящих и разноцветных снежинок каких-то, до рубахи, превратившейся на глазах моих в студень и слившейся с плеч. Пью и пою «синенький скромный платочек... ровно в четыре часа...». Прогнали меня в город, в больницу на излечение от алкоголизма. Уж больно отвратителен был образ мой для моих же растущих пацанов. Плачет человек, пьет и людей к себе не допускает. Как ни любили меня бабы, а прогнали в больницу.

Полежал. Завязал на время. Сторожем устроился. Не могу возвращаться туда, где надругательство над останками Лени – друга моего и моей левой ноги. Не могу – и все. Комнатушку дали мне в общежитии, потом в коммуналку воткнули, когда ученого-еврея посадили и расстреляли за то, что на мухах колдовал и пытался привить овсам, картошке и пшенице нежелание произрастать на колхозных полях. Я, конечно, не дурак, понимаю, что невинного человека в расход Втупякин вывел, но в комнатушке поселился. Один живу. Баб не желаю видеть, не то что обласкивать. Обрыдли окончательно после моей самоотверженной деятельности в годы войны и разрухи. Допрыгался. Но, честно говоря, не переживал я, маршал, из-за этого дела. Спокойней даже как-то существовать стало. Это ты у нас боевой ешак, грузинка, говорят, растирала тебе разные части волшебными пальцами, и ты сразу стюардессу развратил в полете посреди облаков...

На могилку вполне известного мне солдата цветочки полевые летом таскаю, мрамор протираю тряпочкой, окурки убираю, бумбетки бронзовые на цепях мелом надраиваю, приглядываю, в общем, за могилкой.

Долго я свое сознание обрабатывал по части вины перед Ленею и самим собою, что загубил я судьбу, укрывшись за именем друга, долго. Но, когда пришла пора, не удержать меня было, и во многом тебе, маршал, за это солдатское мое спасибо. Насмотрелся я, как ты объелся звездами золотыми, бриллиантами маршальскими, драгоценным оружием и про-

чими холуйскими подарками твоих дружков и понял: жить так больше, Петя дорогой, никак нельзя. Невозможно, более того, жить в прежнем лживом облике, держащем в тени могилы многострадальное мое имя, данное мне матерью и отцом родным. Кончено, слава Богу, с этим безобразием. Пусть знает народ, что в могиле лежит известный солдат Леонид Ильич Байкин, скромно погибший за Родину без упреков кому бы то ни было и обид.

Пусть мочит дождь фанеру и смывает вода чернильный карандаш. Я снова буквы нарисую, пока не выдолблю на мраморе законное имя владельца роскошной могилы... Сейчас вот опять текут из глаз моих слезы чистой радости.

Легко, думаю, душу и судьбу загубить, но и спасти не долго, если ты бесстрашен перед прошлым временем, настоящим и будущим. О замогильном времени я уж не говорю. Оно поважней, кажется, прошедшего, и ты представь, маршал, в сей миг, как разоблачат некогда твои самонаграды, вранье позорное насчет твоих подвигов военных и то, что ты премию огреб за тиснутую шабашками книженцию, как говорит опять же Ленин. Представь... Не знаю, с каким настроением рабочим будешь ты сходить за порог известности и представлять перед неизвестностью, где нет ни маршалов, ни солдат, но только Истинный Свет и вечная бездна тьмы, в которой не сверкнут, не блеснут ни единой искоркой золотые твои побрякушки и камешки, как будто и не было их вовсе в природе с тобою вместе, выдуманном из-за неимения у Втупякина иного выдающегося правителя для страны и народа... Но ладно...

Чего я не досказал тебе?... Сижу, значит, тогда, после водружения фанерки на могиле, «Синенький скромный платочек» пою, чист душой, повинился перед миром, ханки еще хлопбыстнул, соседи, слышу, на строительство коммунизма пробудились, рыла споласкивают, чай кипятят, у сортира толпятся, хреновину какую-то порют насчет Лейбманов, которые в Израиль намылились. Двенадцать человек семья, включая прабабку и прадеда.

Вот и шум идет: кому ихние две комнаты отойдут. Озверелые люди совсем из-за жилплощади, а открой ты им, генсек, границу – половина разбежалась бы враз. Конечно, потом запросились бы многие обратно, когда пропили бы имущество и обручальные кольца, потому что трудно русскому человеку после какой-никакой, но однако ж шестой части света в Италии какой-нибудь замазку колупать и «рябину горькую» выть от тоски. Трудно. Обратно бы запросились, а ты бы их наверняка не пустил по партийной зловерности и чтобы не смущали своих соседей рассказами насчет порядка жизни у капитализма и какую деньгу зашибает рабочий человек за свой честный труд, а также что он может купить в магазине на заработанное, где живет и так далее, в общем, то, чего по телику не услышишь и в газете не прочитаешь, благодаря военной тайне о жизни рабов капитала... Шумят соседи. Дружно претендуют на расширение жилья. Драчкой запахло. На это дело мы мастера.

Только думал протезом их там шугануть, чтоб не зверели, может, и не отпустят еще Лейбманов – умные и хорошие потому что они для страны люди, особенно прадед Моисей, лучше него никто не починит дамскую туфельку, – как в дверь мою барабанят. Зло взяло. Кайф ломают, гады. Беру протез, открываю дверь и первому же врезаю промеж рог с оттяжкой.

А это Втупякин, участковый наш, вредное и мелкозлое животное. Хорек... Смешно стало. Извини, говорю, думал – сосед прется.

Тут меня рыл пять в штатском подхватили под белые руки – и в отделение. Вот тебя, маршал, слышал я от Ленина, ни разу не арестовывали. Ты сам всех в тридцать седьмом пересажал и на ихние места уселся со своей шатией-братией. Русский человек – не человек, если ни разочка за свою жизнь в КПЗ не побывал. Целина, так сказать...

Помял мне там кости Втупякин. Отыгрался сполна за то, что протезом промеж рог получил. Раны даже мелкие открылись у меня – те, что после побоев остались. Вот как помял. Ровно ковер от пыли в выходной день выколачивал и половицу выбивал. С большим

удовольствием. Кого же ты бьешь, подлец, спрашиваю. Инвалид-калека ведь в ногах твоих валяется. А он наступил прямо на мой рот ногой обутой и крутит подошву на губах...

Не могу... не могу... как тут не зарыдать от непрошедшей обиды. На боль начхать. Обиды бередают, покоя не дают...

Потом допрос был. А у меня с похмелья и побоев в зрении черт знает что творится. Штук пять Втупякиных в комнату набилось.

– Допился, свинья, – говорят. – Над могилой Неизвестного солдата глумишься, дерьмо собачье... От Вечного огня сигарету прикуривал «Приму», подлец, прохожий сознательный донес по телефону... Сгноим тебя в дурдоме, даже лагеря не увидишь, образина опустившаяся... Отрекайся от злодейского хулиганства, рванина пьяная... От кого задание получил? ЦРУ, небось, и жиды тебя спаивают, Родину нашу великую компрометировать? Солженицына читал?... В каких отношениях с евреями по квартире, урод? Когда завербован?... Что еще, кроме листовок, в протезе держал?... Вот что ты, мразь, стекловатой набитая, с протезом, щедро подаренным тебе страной, делаешь.

Отвечаю так. Я, мол, хоть пьяный и рваный, но нога моя тем не менее захоронена вместе с Леонидом Ильичом Байкиным. Листовку же я нашел на базаре, и в ней вся правда говорится. Не хрена вонючую Кубу кормить на восемь миллионов в день и Африку завоевывать. Самим жрать нечего. Дети завистливыми рахитами растут. Листовка сознательная, а моя фамилия – Вдовушкин Петр, который считается неизвестным солдатом и захоронен под Вечным огнем... неужели ж прикурить от него нельзя живому человеку, когда спичек нет? Мне бы лично на месте Лени было только приятно... Желаю быть отныне известным справедливости ради и совести.

Ну и опять все эти Втупякины топтать меня начали. А я на своем стою, всю правду выкладываю с самого начала войны. Если, говорю, не верите – выкопайте Ленинский прах на экспертизу. Неужели сделать это для правды тяжелее, чем Сталина на глазах всего света выковыривать из мавзолея? Выкопайте. Там сразу и ногу мою увидите правую. Мизинец у нее вкось, на большом пальце ноготь сбит об корень сосновый, сапог сорок четвертого размера. Вдовушкин, эрго, я, Петр. Не будет ноги в могиле – под расстрел готов идти без суда, но и тогда прав буду категорически...

– Отчество какое у Вдовушкина?

Ну, думаю, попался. Отчество вышибла из меня давно еще советская власть. Что делать? Загляните, говорю, в приговор смертельный моего отца и узнаете мое отчество, если оно вам очень интересно... А прах требую откопать осторожно ради уважения к нему.

Куда там?... Повязали меня и в дурдом воткнули. Хорошо, думаю, что Машка моя вовремя дуба врезала. Оказалась бы сейчас бездомной псиной, гонимой гнусно соседями по коммуналке, а я бы и впрямь «поехал» бы от горя и бессилия помочь спасительнице своей верной...

Полгода первый раз держали. Током трясли. Химией кормили. Под гипноз бросали. Унижали всячески, как шизофреника и алкоголика. Пенсию два раза зажилили, а сказали, что выдали ее мне, а я накупил на все деньги одеколону «Карменсита» и жрал его вместе с однопалатниками.

Выгнали наконец. Даже не помню, что я такого наделал и кто я такой вообще, как я жил до этого дня, до праздника Победы, до девятого мая. На ощупь, так сказать, живу. Руки трясутся. В сортир ходить забываю, а из школы Втупякин запретил присылать ко мне тимуровцев – порядок помогать наводить в конуре инвалиду Отечественной войны. В зеркало гляжу – ничего в нем не вижу. Пустое место. Нету меня – и все. Отсутствую в природе и обществе. Стену вижу с голыми обоями, портвешком забрызганными, черный громкоговоритель на ней и ремешок Машки покойной, а себя не вижу. Помню, что это меня тогда вполне устраивало. Успокаивало также. Есть я как бы, но одновременно нету такого человека. Паль-

цем проведу по физиономии – нос, лоб, глаза на месте, уши топорщатся, борода не скоблена суток пять, стену потрогаю на ощупь – голая стена в зеркале без намека на мое изображение... Вот как лечат в советском дурдоме – самом нормальном дурдоме на свете, как пишется в тамошней стенгазетенке «За здоровье народа». Вот до чего доводят людей, желающих установить жесткую, трудную и раздражающую начальство правду, вот как заставляют по-фашистски вытравить из себя истинную личность до полной потери всех представлений о родимом теле и о многострадальной душе...

Но вот, девятого мая, в День Победы наметилось во мне просветление. Это мой праздник и Ленин, всех, кто жив, отвоевав, и тех, кто покоится в земле сырой.

Все же власти отнеслись ко мне, хоть безумным психом и числился, как к инвалиду. На митинг позвали, полкило колбасы отдельной выдали, талон на масло сливочное и кило свинины жирной с ананасом. Из Африки тот ананас был. Завоевали мы его там. Спасибо, генсек, большое за заботу об инвалиде и руководство внешней политикой. Спасибо, кормилец.

Ковыляю на митинг. Протез об голову Втупякина сломан. Но не танцевать же мне с дамочкой в ресторане «хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом...» – люблю весьма этот фронтовой вальс. Костыляю, в общем, на митинг.

Стою перед Вечным огнем, перед синим пламечком и плохо соображаю, что это за мрамор, что за огонь, что за высокая трибуна напротив и какое ко всему остальному я имею отношение? Не понимаю. Вот до чего химией набили уроды человечества под маской бесплатной медицины, проститутки поганые. И ни при чем тут проститутки. Любая «синяя птица» на вокзале в тыщу раз душевней, благородней и милосердней Втупякина и даже в долг может дать с заработка на бутылку...

В руках у людей плакаты «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». Оглядываюсь вокруг. Глазами ищу инвалидов. И совсем не вижу. Ведь к тому времени, когда ты, генсек, спохватился и постановление принял о кое-каких побрякушках для нашего брата, перемерли мы все почти к чертовой бабушке. Вы ведь думали так: хрен с ними, с калеками, раз они без рук, без ног, с контузиями глаз и ушей и так далее. С голоду не подышают, не работают, у ворья вещи краденые, случается,купают, пьянствуют, граждан, психопаты, колотят костылями чуть что, и нечего развращать их добротой внимания. Пусть во дворах сидят и «козла» до отупения забивают, чем бесплатно в трамваях ездить и поездах, спекулируя кофточками и прочим жалким дефицитом. Санатории партийным товарищам нужны позарез, потому что на них страна наша великая держится, а не на инвалидах войны. Родина, мол, не пассажир в такси, который на чай дает за услуги. Жертвовать Родине всем до последней капли крови – священный долг каждого гражданина СССР. Именно так ответили мне в горисполкоме, когда я попросился в санаторий язву желудка залечивать. Но о внутренних болезнях я тут распространяться не желаю. Я лишь хочу заявить, что война так сказывается, особенно на инвалидах, так она перековеркивает все нервишки организма и нарушает течение последующей жизни то в одном его месте, то в другом, что врачи вообще ни хрена в нас не понимают и диагноз ставят исключительно следующий: пить надо, больной Байкин, меньше и закусывать при этом не забывать... А что закусывать? Чем, я вас спрашиваю, закусывать? Мышью, что ли, дохлой под прилавком в гастрономе? Или ухо у мясника – хари воровской – оторвать? Поляки вон из-за мяса шуметь начали, а мы когда начнем? Когда на карточки хлебные пару недель веники березовые выдавать будут? Или когда опухнем от водянки, как самовары?... Не знаю. Убили у нас за шестьдесят лет в рабочем классе гордость и хозяйское чувство вместе со смелостью постоять за свои законные интересы и свой ишачий, псам кубинским и вояками африканским под хвост вылетающий труд... Но ладно...

В толпе народа различил я все же фронтовиков с бабами, сыновьями и внуками... И я мог вот так, думаю, стоять рядом с тою врачихой, если бы душевно к ней отнесся и не плюнул в душу бессердечным хамством. И детеныш наш уже отцом заделался бы, если бы, конечно, не спился с рабочим классом... Мелькнуло такое тоскливое сожаление...

На трибуну, разумеется, Втупякин влазит и говорит так:

– А теперь позвольте, дорогие товарищи, зачитать вам Указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный нашим дорогим и любимым Юрием Андропычем Пржедневым, который лично возглавил в тяжелый для Родины час руководство главным участком фронта, что и решило исход мировой войны в нашу пользу, и люди перешли к мирному труду по возведению светлого здания коммунизма на тер ритории нашего свободолюбивого государства – оплота интересов трудящихся всего мира и грозы сионизма-империализма лично...

Все, конечно, как всегда, хлопают ушами и позевывают. Я не исключение из этого правила. На кой, думаю, хрен сюда притащился? Сроду на митинги не являлся ввиду ихней тошниловки и заскорузлой жвачки. Дурак старый... В образах представляю от скуотищи, как жвачка, которую еще Карла Маркс жевал на пару с Энгельсом, Ленину в рот перешла. Тот ее Троцкому в пасть перекалывал, пока Сталин сам не принялся за разжевывание с запитием этой отвратительной жвачки нашей кровушкой и свободой... Втупякин жует ее, слюни заглатывать не успевает, засранец...

Но что это я вдруг слышу?

– Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» посмертно рядовому Петру Семенычу Вдовушкину...

Тут у меня в мозгу что-то – шелк... шелк... шелк... и душа затрепыхалась, силясь добраться до вечной памяти, но химия ее не отпускала так легко, зараза. Втупякин же продолжает свою речугу:

– Никто, таким образом, не забыт, товарищи, поскольку ку русский солдат Петр Вдовушкин в тяжелейшей для на шей пехотной дивизии, в безнадежной почти ситуации, в окружении врага... командир и комиссар были убиты в же стоком бою... мужественно и весело запел песню «Синень кий, скромный платочек падал с опущенных плеч», чем под нял на правый бой остатки седьмой стрелковой дивизии... прорвали окружение... спасли от неминуемой гибели артиллерию... в ночном бою познал захватчик всепроникающую до печенки мощь нашего справедливого штыка... негасимая ему слава... Вечный огонь его храбрости и патриотизму, товарищи, поскольку многих из вас не было бы в противном случае на этом торжестве солдатской славы нашего оружия. Клянемся над могилой Неизвестного солдата: Никто не забыт и Ничто не забыто. Лично спасибо Родине за ее благородную память о своих героях.

Трещит от услышанного моя лбина, ровно в невидимую стену я уперся, а пробить ее не могу. Чую, однако, что за тою стеною источник для меня существенный находится. Чую, алкоголик, калека, душой и телом пропащий, добраться же не могу... Вот как мне мое возрождение давалось, маршал. Не то что тебе. Носился в ЗИСе по стройкам и горло драл:

– Вперед, братцы-ы-ы. Коммунизм-то ведь не за горами. Неужто вам туда неохота? Вперед.

Напрягаю все силы своей личности, чтобы уяснить происходящее вокруг меня и отреагировать соответственно настроением на услышанное. Как в лесу чувствую себя... Громко – от страха что-то заплутал – аукаю, а в ответ не слышу ничего, кроме слабого звука от своего же «ау-у-у».

Втупякин же остальных воинов называет, вспомянутых по воле какого-то бойкого начальничка по пропаганде в ЦК, потому что не жалость к калекам и уважение к мертвецам подвинули его на это, а жвачка потребовалась новая. Старая промеж зубов застряла... Кому орден, кому медаль посмертно объявляют. Живые тоже поднимаются на трибуну. Прикаль-

вает им Втупякин награды, но не могу я никак издали узнать своих однополчан, которых я же поднял в атаку не по храбрости вовсе, а от отчаяния и боли по своей оторванной ноге и хлобыстнул трофейного коньячку. Митинг как митинг, одним словом, и я уж облизнулся, подумав насчет отдельной колбаски и как я, продав соседу талон на жирную свинину по причине бывшей язвы желудка, сковыляю за «маленькой», картошки пожарю на масле, выпью и, может, спую чего-нибудь да поплачу о сгубленной судьбе, о глупости своей и замечательном легкомыслии...

Как вдруг Втупякин – рожа у самого вечно пьяная, наглая, негасимое, одним словом, мурло – произносит:

– От имени нашей партии, Верховного Совета и лич но товарища Юрия Андропыча Прежнева вручаю награду Вдовушкина Петра Семеновича супруге его, то есть жене Анастасии Ивановне, которая – гость нашего славного города.

Сперва я за грудь схватился, ровно под дых мне вдарило и согнуло, потом ковыляю к трибуне, все сторонятся, память во мне враз ожила до мелочей, приник к ней, ору, башку задрал:

– Нюшка-а-а! Нюшка-а-а! Петька я твой!

Сердце же мое разрывается от горя и счастья жизни, и нога вроде правая отросла, верь, маршал, стою под трибуной и ору:

– Жив я, Нюшка. Жи-ив. Синенький скромный плато чек... в двадцать четыре часа.

Нюшка моя уставилась на меня, сама в шляпе, на шляпе букет, лицом все так же хороша, сытая, развезло ее, однако, с годами, в буфете, небось, работает на мою удачу, шестимесячная не молодит только бабу.

Стою, воплю и костылем размахиваю. Нюшка тоже с трибуны свесилась, выглядывает меня. Тут Втупякин наклоняется и что-то толкует Нюшке. Рукой в мою сторону машет. Распространяется обо мне, очевидно, как о пропащем для планов партии, планов народа объекте.

На трибуну залезть не могу. Оцеплена трибуна цепью милиции непонятно зачем. Не могли же они знать заранее, что мне необходимо будет на нее взобраться... Заминка в митинге вышла из-за меня. Оркестр по чьему-то приказу заиграл «синенький скромный платочек... ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч».

– Нюшка-а, – ору, – родная ты моя жена, иди ко мне с высокой этой трибуны.

А Нюшка скривилась, пот со лба платочком утерла, плечом повела, как профурсетка городская, презрением и забвением меня изничтожая.

Тут Втупякин – участковый наш – зашипел мне в ухо и обидно плечо рукой костлявой стиснул:

– Опять, Байкин, за старое взялся? Иди за мной по-хо рошему... не ломай церемонии, подонок общества... я тебя, гада, вышибу из города-героя в двадцать четыре часа, хулиганье безо всего святого...

Как я мог такое стерпеть? Не мог, ибо позабыл начисто в тот момент, что официально-то я – Байкин Леонид Ильич. Обиды, тоска, гнев от несправедливости и косорылия Нюш-киного – все во мне враз взыграло, и молотнул я Втупяки-на вновь костылем промеж рог. Он – с копыт. Дыра в голове. Не стискивай, говорю, гадюка, плеча героя легавую своей рукой, не стискивай никогда... Оркестр еще громче пилит любимую мою песню.

Последнее из всего, что видел, – Нюшкина физиономия. Злая, ненавидящая, сплошное непонимание и смущение... Коробочка красная с моею «Звездой Золотой» у Нюшки в руках, и не смотрит она в мою сторону, как будто вообще нету меня на митинге и не был я никогда ее законным мужем...

Потом уж Втупякин – главврач, объяснял мне, что орал я как бешеный и требовал ногу сейчас же выкопать из-под Вечного огня Неизвестного Солдата, который есть якобы Байкин Леня – друг мой фронтовой. Сам я этого не помнил. Думается, оглоушил меня кто-то японским приемом, а может, кровь сама к голове прилила. Было от чего прилить...

Снова дурдом, а я вроде рецидивиста в нем, с таким диагнозом, что произносить его противно. Нет в диагнозе ни грамма правды... Вспоминаю последнее видение с воли: волокут меня за руки и за ногу кверху рылом, а надо мною флаги колышутся и портреты. Втупякин на каждом портрете с мордой отретушированной, ласковой как бы по отношению к народу, прямо отец родной, галстуки в горошек...

Первые дни сижу на койке или ползаю по полу за неимением костыля, об втупякинский череп переломанного, другой заказывать не хотят мне назло, как хулигану... Ползаю, плачу, скулю-наскуливаю «Синенький скромный платочек»...

Слева от меня на этот раз не изобретатель порошковой водки лежит, а сам Ленин. Справа же вместо выдумщика машины для управления нашим сложным государством Карлу Маркса положили молодого. Вполне душевный человек.

– Верить, – спрашивает, – что я есть Карл Маркс молодой и что я оду радости мечтал пропеть всем людям, верить?

– Раз, – отвечаю, – ты верить, что я Вдовушкин Петр Семенович, Герой Советского Союза, то и я тебе всецело доверяю. Что такое, интересуюсь, ода?

– Песня такая прошлого века, вроде твоего «Синенького скромного платочка», – говорит Карла.

Все мы тут своего добиваемся. Как обход, так Ленин заявляет, что враги коммунизма специально засадили его лысину волосяным покровом, дабы неузнанным он оставался для партии и рабочего класса. И террор умоляет усилить в Италии, во Франции и в Израиле. Легче, мол, будет нам в мутной водичке рыбоньку всемирной диктатуры ловить.

Я-то верю, что его враги заgrimировали, но террор всякий мне лично как русскому человеку и бывшему крестьянину кажется лишним. Лишнее это все, лишнее. Террор этот до такой заварухи и нас всех доведет, что думать страшно... Террор, мать его так...

Карла Маркса молодой, наоборот, просит разрешения у Втупякина отрастить усы и бороду в седом цвете, чтобы ни у кого уже не оставалось сомнений, что он – это он.

Пара диссидентов у нас имеется. Эти иногда требуют у Втупякина почитать Конституцию СССР от скуки, чтобы лишний раз убедиться, что она нарушается на каждом шагу и вообще служит дымовой завесой произволу, насилию и полувековой трепне дорвавшихся до власти хамов и болванов... Диссиденты никогда не плачут. Болтают. Записочки пишут. На волю ухитряются их передавать...

Ленин вот присел опять на пол, голый присел, халат на голову накиннул, об табуретку оперся локтем, как о пенечек, это он в Разливе, в шалаше себя представляет и пальцем по табуретке водит: тезисы свои тискает насчет террора и подавления польских забастовок. Вслух говорит, что один только шаг остался до установления всемирной диктатуры большевиков, а тогда, потирая ручки, он засмеется довольный и начнет гладить всех, кроме эксплуататоров, по головкам.

Маркс мешать ему начинает. Палец наслонявит и по стеклу водит с мерзким звуком или оду свою радостную поет. Потом обычно первый не выдерживает и орет:

– Шалашовка разливная. Прекрати тезисикать. Обдрилал мои светлые мечты. «Состояние» скомпрометировал. Пролетариат в рабство партии отдал. Сифилитик. Недоучка. Блядь германская вагонная. От тебя у твоей Наденьки глаза на лоб полезли. Бес. Слуга дьявола. Все мы здесь из-за тебя сидим, пыхтим и правды добиваемся... Сковородка картавая.

Ленин зачастую внимания даже не обращает, не мешайте, мол, герр Маркс, международному рабочему движению, которое с семнадцатого года ничегошеньки общего не имеет с вашими идеальчиками и расчетами, потому что допустили вы непростительную для коммуниста ошибочку насчет обнищания пролетариата капиталистических стран. Но мы покончим с тенденцией пролетарского обуржуазивания. Мы уничтожим власть с помощью максимального усиления власти в мировом масштабе. Мы вам покажем, что такое диалектика нового типа и как красть кораллы у Клары Цеткин, плевал я на ваш кларнет.

Маркс первый на Ленина всегда набрасывается, за ноги его с пола дергает и на голову ставит, так как силой обладает ужасной. Ленин и хрипит, извивается, пока мы с диссидентами Степановым и Гринштейном не пожалеем его и не отобьем у разъяренного Маркса. Зачем человека мучить, даже если в голове у него безумные планы, как в газете «Правда» и в твоих речугах, генсек. Ленин хоть треплется только, а вы натурально сошли с ума, по прикидкам диссидентов, и если б вас, по ихним словам, положить сейчас в дурдом на справедливое обследование умственных способностей, жизненных целей, культурного уровня и моральных установок, то оказалось бы, что вас это надо держать в психушках, как бешеных собак и врагов спокойствия народов своих и чужих.

И непонятно всем нам, зачем держите вы в дурдоме своего Ильича, когда он прямо выбалтывает все, что вы сами думаете, а главное, делаете? Вернули бы вы его обратно в мавзолей на свое законное место, а Ежова Николая Ивановича пошарить оттуда надо к чертям собачьим. И рассмотрите вы там, на своем очередном съезде партии, вопрос о выкапывании моей правой ноги для установления личности Петра Вдовушкина, если, конечно, я вам как живой герой требуюсь, а не как истлевший... Но ладно...

Ползаю по полу и пою, скулю «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь тихих и ласковых встреч». Пою. Если б не пел, то умер бы точно. А Втупякин говорит так:

– Вот кончу про тебя докторскую и вышибу из твоих уст этот «Синенький скромный платочек», на котором зациклился ты препохабно. Забудешь не то что платочек, но и что такое синий в природе цвет.

– Не забуду все равно, – отвечаю.

– Забудешь. Если я из Суслова Карла Маркса почти вышиб, если я Ленину дал сообразительство на ноги поставить к XXVI съезду партии, а Гринштейна со Степановым образцовыми сделать гражданами, то и ты у меня, пьянь, по-другому запоешь.

– Не запою вовек.

– Запоешь, гад такой, и текст забудешь. Запоешь.

– Не запою. Выкусишь.

– А я говорю – забудешь.

– Никто, – говорю твердо, – не забыт и ничто не забыто, – Сам не выдерживаю – и в слезы, в надрывное рыдание. Втупякин же снова досажает, как садист:

– Успокойся, не то под шок пойдешь. Не саботируй работу советской психиатрии, направленной на улучшение умственного здоровья народа и укрепление государства, где человек человеку друг и брат и где воплощены полностью мечтания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

– Ладно, – говорю, – прекращаю безудержный плач. Давай поговорим.

– В полнолуние охота тебе выкопать свою ногу или равнодушен ты к положению спутника Земли на небосклоне?

– Луна, – отвечаю, – тут ни при чем. Мне не нога нужна как таковая, а доказательство. Ну что вам стоит выкопать ее? Час-полтора всего трудов. Судьба ведь в этом человеческая, и не надо тогда мудохаться со мною в дурдоме, средства попусту изводить и душу мою тер-

зять. Сталина-то, повторяю, выкопали ради правды, а я таких преступлений не совершал против народа, я наоборот – Герой Советского Союза, верь, Втупякин.

– Ну хорошо, – смеется, – выкопаем мы ногу, сойдется все, что ты порешь тут, диссертация моя погорела – два года работы псу под хвост, а дальше что?

– Дальше, – говорю, – Нюшка меня признает с великой радостью. Вспомним мы с ней превратности судьбы, выпьем, объяснимся, и помру я от счастья жуткого, похоронит меня жена по-христиански вместе с правой ногой, и буду я с удовольствием лежать в своей собственной кровной известной могиле на Аржанковском кладбище. На могиле же Неизвестного солдата напишут: ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БАЙКИН. РЯДОВОЙ. ПОГИБ ИЗ-ЗА ПОДЛОЙ ГЛУПОСТИ СТАЛИНА И ЕГО КОМИССАРОВ.

– Ну, а дальше-то что, – не унимается змей, – что потом будет?

– Потом, – говорю, – хочу поносить немного геройскую звезду на скромном пиджакишке. Билеты в кино и на хоккей без очереди и портвейн в рыгаловке брать буду. Билеты на хоккей в десять раз дороже с рук идут. Из пельменной, само собой, никто в шею не погонит. Известный инвалид, герой, одним словом, всего Советского Союза... Разумеется, расскажу Нюшке за стопочкой эпопею свою с самого ранения и потери ноги, ничего не утаивая, до пробуждения стыда за притворство и отказ от собственной личности. Хотел, скажу, по глупости сделать как лучше, а вышло, Нюшка дорогая, как нельзя хуже, но все хорошо, что хорошо кончается.

– Так... С тобою у меня все ясно. Прогрессирует твоя болезнь, Байкин. Настоящее с будущим путаешь, переходишь из него в прошлое с уклоном в автонекрофилию. Зря ты так, Байкин, зря. Героя Советского Союза заслужить надо. Я думаю, что свихнулся ты из-за вины перед своей ногой, скорее всего, потому, что допускаю предположение о намеренном членовредительстве в период окружения с целью увиливания от защиты Родины и советской власти. Ненависть к товарищу Сталину тоже сыграла большую роль в твоей лжи и дизертирстве. Будем бесплатно лечить тебя, используя весь арсенал советской психиатрии, самой человеколюбивой в мире науки побеждать заблуждения ума. Так-то вот, Байкин. Ну-ка, вытяни обе руки.

– Я – Вдовушкин, – заявляю непоколебимо, – герой, фронтовой известный певец и мировая умница без всякой Мани Величкиной и Соньки Преследкиной.

– Хорошо, – настырничает Втупякин, – больной Байкин утверждает, что он здоровый Вдовушкин. Давай сличим два фото. Идентификацией у нас такая хреновина называется. Гляди... Похожи?

– Вот это, – говорю, – похоже на психиатрию самую человеколюбивую в мире, не то что раньше. Поглядим...

Гляжу... На одном снимке я как раз перед 22 июня ровно в четыре часа. Красавец. Чубчик кучерявый. Кепчонка – шестнадцать клинышков. В глазах огонь негасимый сверкает. Улыбка – шесть на девять. Плечо каждое – под пару коромысел. Шея – как труба у паровоза «ФД», только белая, недаром бабы млели, вешаясь на нее.

– Ну, что? Разве не разные здесь два человека? – вежливо так и вкрадчиво спрашивает Втупякин.

– Да, – соглашаюсь честно, – не похожи два эти человека. На второе фото смотреть рядом с первым страшно просто-таки... но...

– Вот мы и лечимся, – обрадовался Втупякин. – Вот и хорошо, Байкин. Думаешь, с гражданкой Вдовушкиной не идентифицировали мы тебя?... Вот ее заявление. Читай... Впрочем, глаза твои слезятся, я сам зачитаю. Вернее, изложу своими словами... Так, мол, и так, хотела бы признать в этом прохиндее Петра своего, но не могу сделать такового ложного показания, хоть исстрадалась в розысках и в смерть мужа не верю... прошу запросить аме-

риканские и немецкие загсы на предмет проживания его в тех странах после пленения и пропажи без вести... И так далее. Пояснила Вдо-вушкина, что ее законный муж пьяни в рот сроду не брал, ростом был выше, глаза, уши, губы рядом с твоими не лежали и что лечить таких надо беспощадно, так как жалко смотреть на спивающийся народ, калечащий жизнь жен и детишек...

Тут я на полу в рыданиях забился и пою, хриплю от всей души: «...ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч... по-о-орой ночью-о-ой мы расставались с тобой...»

Колотит меня, разрывает от чувств, а Втупякин с важным видом что-то пишет себе и пишет, на меня внимания никакого не обращает.

Как же, плачу, узнать тут нас и сравнить? Уши мои морозом жизни прибило, как псине шелудивой, бездомной, пообтер я их на сырой земле и на нарах падлючих каталажек... Глаза мои – пара синих глаз, васильки полевые, – выпцвели ко всем чертям, наглядевшись на войну и мир настоящего, вымыты одинокой слезой и оловянной водярой глаза мои, братцы... Чубчик ты мой ржаной, не забыл я тебя, развевался ты, чубчик, надо лбом высоким и упрямым, всегда был на ветру, ныне же череп мой желт и гол, как горка ледяная, обоссанная невинной пацанвой и жестоким народом... Перебиты, поломаны ноздри, прости ты меня, нос мой расчудесный, что опух ты, засиреневел, заплаговел, прости... Как же узнать мне щеки мои, Нюшка, когда морщин на них поболее, чем извилин в ленинской голове... А брови? Где вы, мои брови? Нету вас над глазами вообще, не генсек ли изловил их, как птиц, и распросстер над зенками своими?... Батюшки, губы мои розовые, жадные, добрые, веселые губы, до чего же я вас обтрепал об края кружек окаянных, стаканов стеклянных, горлышков зеленых, батюшки, до чего я вас изгунявил, истрескал, злодей, в кровь разбил... Но я это, Нюшка, плачу я, разве может одна душа в такой миг выдать себя за другую, душа – не фамилия, ее не поменяешь, ты же не забыла меня, Нюшка, Настенька, Анастасия, двадцать второго июня ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...

С другой стороны, маршал, нет мне прощения, должен я быть забыт, и явление мое в мир тоже быть забытым должно. Я не умница мировая, а натуральный подлец и кобель окаянный. Нюшка не узнала меня? Правильно. Справедливо. Сам виноват. Нечего было советской власти бздеть. Следовало до смертного часа оставаться Вдовушкиным Петром – сыном кронштадтского врага троцкой сволочи. Все было бы мне воздано за долготерпение, муку души, оторванную ногу, нечеловеческие пертурбации – все...

Леня, друг ты мой фронтовой, что же я наделал? Как теперь кашу эту расхлебать успеть до смерти? Хрен с нею, с геройской звездой, может, останься я самим собой, а не тобою, то и Нюшку искал бы, и она обнаружила бы меня непременно, без страха явился бы я в деревню родную, и все стало бы на свое место, Леня. Да и теперь хоть детишков рожать нам с нею поздно, но и так пожили бы годочков десять, прижамшись к друг дружке на широкой, на взбитой, на чистой постельке. Днем же пошли бы пенсию получать – и впельменную: «Варька, а ну-ка, стаканов пару. Герой Советского Союза с законной женою страстно желает двести грамм хлобыстнуть под пельмень с горчицей, под пельмень с маслицем, под пельмень с уксусом, костыль – под стол, палку – по боку, садись, Нюшка, за все уплачено, никто не забыт, ничто не забыто...»

Кстати, маршал, где пельмени? Куда девались наши пельмени из пельменной №8 «Романтики»? Где пельмени? В Афганистане? На Кубе? В Африке? В космосе? В чем дело, маршал? Где они?... Пустыня в пельменной нашей. Как с Христом конвоиры, вы с народом нашим в жизни поступили – один лишь уксус в пельменной оставили. Макайте, мол, в него запекшиеся от крови и обид губы. Все равно, скоты, в международном положении ничего не смыслите и не понимаете исторических задач партии – ума, чести и совести нашей эпохи... Может, в Польше сибирские наши пельмени? Нет. Не бастовал бы рабочий класс при наличии от пуза сибирских пельменей в Гданьске, на верфи имени Ленина. До чего же

вы, генсеки, маршалы и Втупякин, довели русский народ, если он пельменей запах забыл, но не проявляет благородного недовольства и не то что не бастует, а плетется как миленький на обрыдливые митинги, на фармазонские выборы и мошеннические трудовые вахты. Это же сплошной депрессивный психоз. Шизофрения массовая. Бред страха. Мания возвеличивания паразитов. Анемия. Амнезия. Мания дальнего следования.

Это я нахватался по медицине от Втупякина и диссидентов... Вот Ленин опять бумагу рвет из рук... Ручки шариковые где, думаешь, берем? Нянечки их нам за деньги приносят. А деньги мы где и откуда в дурдоме достаем? Воруем, маршал, потихонечку. Через окошко на веревке простынки вольным, нормальным гражданам спускаем, стулья иногда, аминазин скопленный передаем ленинский. Он прикинул, что недовольных молодых людей много развелось и поэтому надо оглушать их наркотиками любого вида, от хоккея до аминазина включительно... Вчера фикус продали какой-то бабке за два флакона одеколona. День рождения жены Марксовой отгуляли. Портрет твой с орденом Победы, который ты нагло нацепил на себя, не будучи Рокоссовским или Жуковым, тоже мы с удовольствием пропили. Деньги, конечно, не за твою физиономию были получены, а за раму золоченую с финтифлюшками и бамбетками разными... Краску масляную подтырили, когда ремонт шел. Хватились ее маляры, а мы говорим с Марксом, что вылили ее в сортир, чтобы не излучала вредных для мозгов запахов. Чего с нас возьмешь?... Портрета же твоего до сих пор не хватились, вроде бы и не было его на стене вовсе... Ну, а уж лампочки мы, где только можно было, повывертывали. На воле-то они вдруг пропали из-за того, что вы там в ЦК экономию решили навести за счет потери народом вечернего освещения. Придет утром Втупякин, спросит: где лампочка сортирная, сволочи? Ленин говорит, что лампочка не сортирная, а Ильича, и он делает с ней, когда она перегорит, что заблагорассудится. Новые вворачивает лампочки, а нам того и надо. Раз идет воровство на всех участках строительства коммунизма, то и мы не в стороне, как говорится, от народа и руководящих работников.

Докладная записка комиссии партконтроля №234/59

Необходимо выжать Хомейни – этого махрового мракобеса и яркого врага коммунизма, вознесшегося на вершину власти на гребне религиозного фанатизма, как губку. Смерти подобно игнорирование Ирана как решающего очага мирового хаоса. Вчера было рано, завтра будет поздно. Выход к берегам Персидского залива с экспроприацией нефтяных богатств у архиразвратнейших шейхов и их наложниц позволит нам наконец взять империализм за горло без риска ядерной конфронтации с США. Мы – коммунисты – просто исторически обязаны закончить глобальнейшую драчку за нефть задолго до перехода человечества на новые виды энергии.

*Заигрывайте, где только можно, не стесняясь **никаких средств** (курсив мой. – Ульич), с невеждами и хапугами муллами. Сыграв свою историческую роль в интересах мирового коммунизма, они будут убраны нами без лишнего шума со сцены истории и выброшены на свалку вместе с их идейными братьями – попами, раввинами, брахманами и римскими папами.*

Передайте привет Кастро-Каддафи. Это глыба. Матерый человечиче.

Срочно переведите молодого Карла Маркса в другую палату и спросите у Андрона Феликсовича, кто такая Кше-синская? Не она ли сбежала на поганый Запад вместе с группой работников нашего партийного балета?

Что там слышно с внешней торговлей – этой веревкой, которую мы затащим на горле картелей и трестов? Уберите Маркса, у бе...

Опять, маршал, дерутся вожди наши. Ведь Ленин больно часто сигареты из карманов у нас ворует и по тумбочкам роется. Побьют его, а он вопит, что Дзержинский ордер ему

выдал бессрочный на обыски и убийство политических провокаторов. Вот Маркс и говорит давеча:

– Если так, то ликвидируйте, герр Ильич, сексота палатного. Никакая он не обезьяна, а стукач втупякинский, лезущий в мозг без мыла и пытающийся разнюхать, где спрятан мой капитал. Типичная насадка. Уважаемые господа диссиденты первыми заметили его обезьяньи нюхательные телодвижения. Полотенце ему в рот – и вся готтская программа.

Обезьяна – на колени перед Марксом, клянется, что не сексотит, хотя Втупякин предлагал ему за такие услуги карточки развратные с голыми бабами, чтобы он онанизмом своим неизлечимым занимался, как интеллигентный человек... Не убивайте, товарищи, я до вас желаю доразвиться и быть отпущенным на поруки матушки.

Пощадил его Маркс, от Ленина отбил и велел в другую палату проситься, не то заткнем плотку полотенцем мокрым и скажем, что сожрать его хотел для порчи казенного имущества... Как ветром сексота сдуло после обхода...

И вот новый курс лечения выдумал для меня Втупякин, поскольку не желаю я отказываться от истинного имени... Уколы колет, в горло таблетки силком запикивает, шоками трясет невероятной силы. Но я мало того, что терплю, я таблетки выbleвывать наловчился. Проглочу, водой запью, а сам в сортир иду, мыла разведу попенистой, хлорки в него добавлю для отвращения пущего и ем, давлюсь ужасно, пока не вывернет меня с таблетками вместе. Уже легче. Личность сохраняю в труднейших условиях ее сопротивления советской человеколюбивой психиатрии.

Если бы диссиденты послушали меня, то и они бы выдержали химическое надругательство над собою. А они говорят: ничего, в дурь немного побросает, а потом с мочой вон выйдет. И вот что получилось.

Приводит нас пятерых Втупякин в зал, похожий на танцевальный, с трибунами, как в цирке. На трибунах молодые люди сидят вперемешку с пожилыми. Кто в форме с синими гбэшными кантами, кто в теннисках и пиджачках. Зашумели смешливо, когда нас ввели с Марксом, Лениным, Гринштейном и Степановым. Рожи у всех такие непотребные, как будто они родственники Втупякина близкие. Весьма сходственные типчики. Блокнотами зашелестели, сволочи паскудные.

А сегодня, дорогие товарищи повышенцы квалификации, произведем наблюдение за двумя группами больных. Одна из них, говорит Втупякин, откормлена нами... хре-ноколеносоплягопердоширозинокоррадом... прости, маршал, за два дня это слово не выговоришь... вторая же группа пребывает в спонтанно-хроническом течении параноидального синдрома с манией величия и бредом преследования. Вы можете задать вопрос как больному, считающему себя Марксом в молодости и пытающемуся прикинуться невменяемым с целью ухода от суда за хищения в особо опасных размерах, так и больному Худи-лину, выдающему себя за настоящего Владимира Ильича вот уже много лет после XX съезда нашей партии. В прошлом преподаватель марксизма-ленинизма в Училище акушерства и гинекологии имени Крупской. Затем перейдем на группу, подвергнувшуюся воздействиям эффективных медикаментозов... Прошу...

Ленин, конечно, ручку вперед выбрасывает и вопит: «Есть такая партия». Втупякин на место его отталкивает и говорит, чтоб не лез без очереди. Смех в зале. Хамло ведь на представление сюда собралось со всего СССР, чтоб опыта поднабраться в борьбе с теми, кто не желает по-скотски глаза закрывать на вранье партийной казнокрадии и антинародных авантюристов. Смех.

– Как к симулирующему Марксу обращаться? – спрашивает один идиот.

– Скажите, «больной»... и так далее. Фамилий Маркса и Ленина вслух не произносить, – поясняет Втупякин.

– Скажите, больной, – спрашивает из первого ряда баран какой-то, – помните ли вы свое детское младенчество в городе Симбирске. Ну, Ленина хлебом не корми, но дай обратиться к народу. На стул хотел забраться под хохоток повышенцев. Вту-пякин с Марксом удержали.

– Тут тебе не броневик, – говорит Втупякин. – Режим не нарушай.

Тогда Ленин закладывает ручки под бока, пальчиками барабанит по ребрам, головку наклоняет, ровно воробей, глазки прищуривает и картавит:

– В школе, сиречь в гимназии, батенька, я никому не давал списывать задания. Никому... А когда братик мой Митя оказывался под диваном, я весело кричал ему «шагом марш из-под дивана» и, потирая ручки, смеялся довольный. Если у меня разыгрывался люэс, я оставался дома, читал «Диалектику природы» и «Вопросы ленинизма», а также смотрел в окошко на грязный ад, называемый жизнью... Вот Саша вышел из дому... и пошел другим путем куда-то...

Повышенцы носы и рты зажимают от смеха, ну, хватит, шипит Втупякин, а Ленин срыгается:

– Товарищи члены «красных бригад». Вы – дрожжи мирового хаоса. Не поддавайтесь на провокации буржуазного гуманизма, апеллирующего к пережиткам ваших чувств. Сочетайте террор против слуг империализма с практикой задержания политических и прочих заложников и шантажом всех полицейских институтов беременной гражданской войной Италии. Ваше мужество принесет плоды всем находящимся в рабстве у империализма. Превратим грязный ад в светлый дворец мирового коммунизма. Вперед, товарищи.

– Хватит, – рявкнул Втупякин, – заткнись, говорят. Теперь другой маньяк ответит на ваши вопросы, товарищи. Давайте без смеха. Мы не в театре.

– Позвольте пару слов в порядке ведения собрания? – не успокаивается Ильич.

– Заткнись, говорят, не то в карцер пойдешь отсюда.

Присмирел Ленин, на пол сел, вид делает, как на картине, которая в приемном покое висит, как будто на приступочках съезда тезисы свои тискает.

– Скажите, больной, помните ли вы своего друга и как его зовут, вернее, как его звали?

– Я все помню прекрасно, – говорит Маркс, – но если кучка идиотов задумала экзаменовать меня в этих стенах, то я не собираюсь быть подопытной лошадкой. Плевал я на вас, душители прибавочной стоимости в одной отдельно взятой стране. Когда капитал переходит в грязные лапы патологических убийц и социальных паразитов, мы имеем в наличии такую действительность, которую ни я, ни несчастный Фридрих не могли себе вообразить. Как вы кормите, сволочи, основоположника? Все мясо разворовывается еще на пищеблоке.

– Товарищ Маркс совершенно прав, – брякает Ильич с места.

– Молчать... Вот, товарищи, небольшая иллюстрация к протеканию мании у особо тяжело больных. Хотя второй больной находится у нас на подозрении в симуляции. Различные экспертизы не подтвердили этого, но интуиция иногда поважней экспертиз. Есть еще вопросы к больным?

– Они что, считают себя всамделишными Марксо-Ле-нинскими, или, так сказать... в эмпиреях эфира? – спросил бледный и весь в прыщиках повышенец.

– Можно мне? – вырвался Ленин. Втупякин с улыбкой кивнул. – Без эфира – этой выдумки поповщины – я перед вами в натуральную величину, товарищи, и пиджак мой хранит запах бальзама и сандаловых масел, присланных мне египетскими товарищами в 1924 году... В мавзолее находится Николай Иванович Ежов... нонсенс... воляпук, – тут Ленин захныкал, лицо скривил, я ему шепчу: «Будет, успокойся, не то на ларек денег не выдадут». Он и притих.

Повышенцам интересно, конечно, такой цирк наблюдать. Раскраснелись, глаза горят, ровно у детишек, когда некоторые живодеры кошку мучают или собаку хитроумно пытаются.

– Разрешите, товарищ военврач первого ранга, за мороженым сбегать? – спросил один шустряк.

– Беги, валяй... Иди сюда, Байкин.

Подхожу. Не ору, что я Вдовушкин. Пусть думает Втупякин обо мне как о поддающемся лечению и встающем вроде Гегеля на ноги. Втупякин и рассказывает мою историю болезни. Киваю, мол, все правильно. Но после вывода, что я маньяк и манию величия Героя Советского Союза имею, не выдерживаю и говорю:

– Если кто из вас раскопает могилу Неизвестного солдата, то его глазам представит картина моей правой ноги, и установить ее принадлежность мне не составит никакого труда, – стараюсь говорить вежливо и умно, как Маркс. – Давайте, несите ее сюда, а потом поглядим, кто из нас прав и кого тут лечить надо.

Хохот. Даже Втупякин закашлялся весело.

– Значит, – говорит, – намекаешь, Байкин, что меня надо лечить?

– Не намекаю, а заявляю с полной ответственностью.

Еще громче хохочут, а меня уже страх пробирает, как расплачиваться мне придется за умные и упрямые речи. Молчал бы, мудило, в тряпочку.

– Какой же ты мне ставишь диагноз?

– Диагноз один у тебя на все века, – говорю ясно и твердо, – говно ты есть смердящее и бесполезное для жизни на Земле.

Ну, тут уж весь зал грохнул, как по команде, а Втупякин, хоть и лыбится, но зыркает на меня зло и многообещающе. И поясняет:

– Лечение больного Байкина проходит последнее время успешно, но вы не забывайте в нашей практике о возможных рецидивах болезни, о вспышках немотивированной агрессии и разнузданного хулиганства.

– Эрго, опасности для общества, – вставляет Ленин.

– Сука, – говорю, вспыхнув, – бригады твои опасны, как гиены, а не я. Шакал. Если б не ты вместе с ними, я бы землю сейчас пахал, а не рожи эти разглядывал. Шакалище.

– Рекомендуются ли, товарищ военврач, мера карательного воздействия по отношению к явно вызывающему поведению больного и хулиганско-антисоветским высказываниям?

– Наша психиатрия против репрессирования больных, но в каждом отдельном случае надо полагаться на интуицию и строгую избирательность мер, варьируя их так, чтобы возбудить участки торможения коры головного мозга больного с целью пресечения деятельности его первой и второй сигнальной системы, включая лишение пользования торговым ларьком, что приносит большой эффект в наших условиях. Больной Байкин прогрессирует как выздоравливающий от посталкогольного психоза, но мы с ним еще поработаем. Мы должны рассматривать каждого больного как помощника врача по болезни и не забывать, что психиатрическая больница – не исправительно-трудовое заведение, где делают упор не на принудительное лечение, а на наказание. Не допускайте рукоприкладства даже по отношению к особо опасным диссидентам с манией правдоискательства и навязывания нам либеральных реформ. Химия дает более высокие результаты отворачиваемости от идеологических мотивов поведения и возмнения себя умом, честью и совестью нашей эпохи с бредом защиты конституции... Перед вами больной Гринштейн, который кандидат на выписку из больницы... Гринштейн, поди-ка сюда поближе... врач тебя зовет.

Сердце болит глядеть на Гринштейна. Глаза пустые. Лицо отекло. Руки повисли. Губы шлямкают. Втупякин книгу ему под нос подсовывает для опознания – Конституцию новую СССР. Что это, говорит, за книга? Узнаешь? Ты же уверял нас в анамнезе, что ты ее наизусть знаешь...

– Ы-ы-ы, – мычит Гринштейн несчастный, – ы-ы-ы... «Возрождение»... «Малая земля»... «Целина»...

Тут Втупякин бурные аплодисменты срывает, как на съезде партии ты, маршал. Повышенцы мороженое лизут. Цирк у них тут.

– После усиленной блокады центров умственной и идеологической агрессии у больных наступает положительная подавленность, переходящая затем – с помощью общественных организаций и контроля органов – в уравновешенное отношение к старым раздражителям, как-то: политика нашей партии снаружи и внутри, эмиграция, свобода слова и соблюдение Хельсинки, – поясняет Втупякин.

Затем Степанова демонстрируют. Этот не расплылся вроде Гринштейна, а сохся, почернел, постарел лет на тридцать, не преувеличиваю.

– Ну-ка, Степанов, расскажи нам, в чем задача советских профсоюзов?... Дело в том, товарищи психиатры, что Степанов долгое время вел работу среди заводского персонала насчет создания профсоюзного контроля над прибавочной стоимостью и жилищным строительством, страдая с детства манией обличения руководства в злоупотреблениях и так далее. С чужого голоса пел... Как ты, Степанов, теперь понимаешь роль наших профсоюзов?

– Вовремя взносы надо собирать... «Руки прочь от Ирана» кричать, – быстро так и озираясь проговорил Степанов.

– Вот и хорошо, дорогой. Скоро домой пойдешь, – Втупякин говорит.

Снова бурные овации. Но Ленин снова возникает:

– Да здравствует интервенция в Польшу! Положим копец вмешательству рабочих провокаторов в дело строительства польского государства. Защитим интересы братского народа от вмешательства империалистических подголосков, типа Леха Валенсы, в дела партии. Смерть крестьянам-кулакам, мешающим росту колхозного сознания в середняцких массах... Ура-а-а!

Опять хохот общий в зале.

– Руки прочь, – орет Маркс, – от прибавочной стоимости, выродки, оседлавшие вершины власти. Прочь. При вет молодому Марксу. Слава деньгам и товару в продуктовой ларьке. Чего ржете, филистеры поганые?

А смех еще громче в зале. Втупякин постучал ключом от отделения по графину. Марксу что-то сказал на ухо. Ленина одернул. Мне пальцем пригрозил, чтобы самовольно не выступал. Но я и сам плевать хотел на эту говорильню... Не до них было...

– На сегодня, товарищи, хватит. Не забудьте о неразглашении впечатлений, а то и так шибко много утечки информации. А ведь мы решением правительства приравнены к почтовому ящику первой категории. Враг пытается поставить себе на службу нашу паранойю, шизофрению и различные мании с депрессивными психозами... Зачеты буду принимать в среду...

Увели нас. И стал меня Втупякин из мстительности доводить химией и шоками до критического к себе самому отношения. Диссидентов же до того довел, что они на свиданке жен своих не узнали. Смотрят на них остолбенело и не узнают. Только загадочно улыбаются. Это нам с Лениным Маркс рассказывал, когда к нему баба приходила и передачу принесла...

Колет меня Втупякин, таблетками разноцветными пичкает и приговаривает:

– Забывай, Байкин, свой дурацкий синий платочек, по живешь ведь еще на пенсии инвалидной, покостыляешь по парку культуры и отдыха, пивка попьешь с баранками и сухариками черными с солью, я тебе добра желаю, хоть ты и всех ненавидишь, как крокодилов, чертяка безногая...

И начал я постепенно сдаваться духом. Унывать начал. Добились своего, паразиты. Сижу целыми днями в сортире, проклиная себя за то, что с Леной фамилиями махнул, жизнь Ньюшкину загубил, на муки ожидания ее обрек, будучи живым и сравнительно невредимым, судьбу испоганил, отчество отцовское забыл, пока на митинге не услышал, вот

до чего дошел, прохиндей... Мимо пронеслась геройская моя судьба, может, я певцом заделался бы вроде Трошина и басил по радио с «Голубыми огоньками»: «Подмосковные вечера...» Мимо. Все мимо... Ужас... Ужас, маршал. Веревку из обивочных шнуров от дивана замастырил. Все, думаю, решено, фронтовой певец, мировая умница, кранты тебе приходят, не выдерживает твоя душа такого переживания нечеловеческого, зарыл ты имя свое в землю сырую, теперь следом туда полезай, никчемность и пьянь разная, жена твоя в километре от тебя расположена, а ты до нее дотянуться не можешь. А если дотянешься, то права она будет, что счет тебе предъявит за холостые годы и ожидания, когда ты баб вдовых обслуживал по графику, дивизию целую безотцовщины наплодил, в книжках такого гада шалавого не встретишь. Нет места среди людей, даже в такой пакости, как коммуналка, полная зловредных змей и гадюк... Умри, ешак безродный и бесстыдный гость на земле. Прочь уходи, горе бестолковое...

Не могу больше переживать. С ума и взаправду сходить начал. Хватит. Решился с некоторым облегчением принять к себе самые суровые меры. Время выбрал. Умылся с утра первый раз за два месяца. Зубы почистил. Бритву «Спутник» у Втупякина попросил. Щетину заскорузную сбрил. Поел. Завтрак свой Ленину не отдал. А то отдавал от безразличия к пищеварению и с тоски. Маркс тоже без супчика моего в обед остался. Умереть, рассуждаю, надо всенепременно в форме, и после оправки чтобы все было в этот хоть момент красиво и порядочно. День танкиста, кажется, был. Тебе, маршал, бесстыдник ты все-таки, по телевизору еще одну бриллиантовую брошку навесили жополизы старые. Ах, так, думаю. Тут свою кровную Звезду Героя не вызволишь, а ты себе присваиваешь награды погибших маршалов, генералов и солдат? Так? Ухожу из жизни, чтоб только не видеть позорища такого несусветного и такой неслыханной срамотищи, уйду обязательно. Вот День танкиста справим и уйду, вручай тут сам себе без меня хоть короны царские и сабли наполеоновские. Жаль, думаю, только, что не доживу я до исторического момента, когда тебя с настоящей манией величия положат на мою коечку и Втупякин начнет выбивать из твоей головы мысль насчет твоего значения для народа в войну, в возрождении и в борьбе за мир. Жаль.

Тут Ленин откуда-то выпивку приносит. Муть в бутылке, но чувствуется в ней весьма многообещающая дурь.

– Я, – говорит, – гульнуть сегодня по шалашу с полным разливом желаю. Вот вам спирт, кадетские рожи.

– Где вы достали его, Ульянов Владимыч, – спрашивает молодой Маркс и добавляет: – Греческая философия закончилась бесцветной развязкой.

Так прямо и сказал тоже в большом почему-то унынии. Сели мы за стол. Втупякин, как всегда в праздники, нажраться успел и в процедурной дрыхнет. Ленин разливает муть в кружки и поясняет:

– Я своевременно навел порядок в препараторской. Я выбросил, с согласия политбюро, к чертовой бабушке, на свалку истории заспиртованные мозги Канта, Гегеля, мо лодого Маркса и Энгельса. Мы идем, крепко взявшись за руки, дружной кучкой по краю пропасти, и нет у нас голо окружения от успехов. Спирт же выпьем мы – творцы историй своих болезней, мы – пегвопоходцы, товагищи мои по конспигации.

Он иногда, входя в раж, картавить начинал. Маркс не унимается:

– А почему вы не выбросили на ту же свалку мозги Сталина, Хрущева, Буденного, Ворошилова и бровастой жалкой марионетки военно-партийного комплекса?

– Потому что, батенька, мозгов-то у них как газ не ге-квизиговали по пгичине полного их отсутствия в чегепах, – ответил Ленин и, потирая ручки, засмеялся, довольный... Шарахнули грамм по сто для начала.

– Умнейшая настоечка, – крикнул Ильич.

– На ваших сифилисных полушариях так бы не настоялась, – подъялдыкивает молодой Маркс. Диссиденты пить не стали. Они отошли слегка после блокады психики и притихли. С умом начали действовать, в отличие от меня.

Захмелел я от ленинской тошниловки, вонь от нее во рту и в брюхе жжение. Подвожу в душе итог безобразной жизни, обросшей ложью. Страшный итог. Спившаяся голова, две праздных руки и неприкаянная одна нога. Протез переломан об башку Втупякина. Верный костыль имеется и палка. Перспектив же нет никаких, кроме втупякинских кулачин и ядов на воле и в дурдоме. Слез и то на сегодня больше нет. Иссяк источник слез. Последние минутки, понимаю, мне остаются. Обвожу вполне нормальным взглядом действительность. Одно уныние. С Обезьяной – плевать на то, что он сексот-стукач-наседка, – и то веселей было. Прыгает, бывало, с койки на койку и наяривает на ходу свою женилку неутомимой волосатой лапой, и орет:

– Мы-мы-мы жи-жи-живем в пер-пер-первой фафа-фа-зе-зе коммунистической формации... разведем Крупскую по жи-же-же-же, на всех хватит.

Смех один... А сейчас уныние. Диссиденты письмо на волю очередное химичат. Маркс молодой под хмельком Ленину свою правду втолковывает:

– Чтобы народ развивался свободнее в духовном отношении, он не должен быть больше рабом своих физических потребностей, крепостным своего тела...

– Польским профсоюзам плевать на этот ваш тезис, – говорит Ленин.

– Очень приятно, что наконец профсоюзы соцстран становятся врагом тиранической партии, – вставляет тихо Степанов. Не вытравил из него Втупякин правого дела.

– Над нашим прахом прольются горячие слезы благодарных людей, а мировой капитал всегда шествует одной и той же поступью, – сказал Маркс и вдруг горько-горько зарыдал. – Как я люблю свободу. Клюй, проклятая птица, больную печень Прометея, камни выклевай из нее... Ой вы гой еси, члены первого интернационала, да вы ударьте того орлика по головке, кликните верных отчужденному труду пролетариев, пушай они блокаду аллохоловую предпримут против птицы-хищника-злодея. Печень моя прометеевская страдает... А вы – усевшееся на Олимпе политбюро, погрязшее в разврате Зевса, вы – развалившиеся на вершине власти чушки с рылами неумытыми – держите орла за ноги, выдерните у него крылья из гузна и оперения, поклонитесь низко прибавочной стоимости, замолите грехи перед нею, и хватит небо штурмовать, толку от этого нету никакого, а Демиург толечки и посмеивается да заносит над нами дубинку возмездия страшного. Ой, что тогда будет, Фридрих ты мой батюшка, Клавдия Шульженко – матушка, что тогда будет, завтрака-обедужина не дадут, шприц полметровый в левую и в правую фракцию влепят, передачку отменят, на свиданку накажут, априорили мы, апри-орили, вот и доаприорились, говнюки, до всемерного развития самых ехиднопакостных способностей человека в правительственном аппарате псевдосоциалистических стран и постепенного обогащения рабочего класса под сладким игом капитала... Уберите орла, уберите, всего Прометея отдаю за здоровую печень, дай, Ильич, мозговухи рю-машечку, боль залить несусветную, харкнуть на предысторию моей болезни, частной собственностью занюхать, Фридрих-Федя, друг бестолковый, мать твою ети в диалектику природы, плач мой младомарксовский услышь – и все начнем сначала, с антикоммунизма святого и с Божеского происхождения семьи и государства, абстрагируясь от обезьяны полностью вплоть до седин моих, выбритых МВД, услышь плач мой титанический, Зевс, засратый до партбилета...

Тоска. Кажется, маршал, нет на земле человека, довольного своим местом в жизни... Я ведь пишу тебе и для того еще, чтобы совесть в тебе проснулась от прочитанного, пока не поздно. Пока не предстал ты перед Всевидящим и не спросил он тебя:

– Всю, говоришь, отдал ты жизнь в борьбе за счастье советских людей, неуклонно проводя через них твердую линию марксизма-ленинизма, и за это самое побрякушки сам себе

навешиваешь на выпяченную грудь? Ну-ка, поглядим, какого ты им счастья подкинул, государь хренов.

И оглянешься ты и увидишь все, как оно есть, а не как тебе докладывают отдрессированные шестерки. Уши отроешь и услышишь правды народной рыдание, лживости нашей бесстыдной партийной чертовскую хохотищу. Ноздрей воспрянешь – не учуешь, маршал, душка пельменного с уксусом, с маслицем, со сметаной – порохом нынче, серую, полем боя несет, гибелью нашей потягивает поутру от твоего пролетарского интернационализма...

Тыщу раз прав Гринштейн Моисей, что, если кухарка начинает руководить государством, то кухаркины дети осатаневают и превращают свою жизнь в рай на земле, а нашу в ад кухонный здесь же.

Тоска... Вдруг Ильич на стол залазит. Руки вперед и вопит:

– Все на демонстрацию, товарищи!

Диссиденты подушкой в него запустили, я куда подальше послал, а Маркс вышел. Качается, но как бы участвует в демонстрации. Голый разделся, ходит мимо мавзолея, а Ильич с трибуны орет:

– Смело продолжайте дестабилизировать экономику Запада. Ура-а. Обрубим серпом руки покушающихся на социалистические завоевания в Польше. Ура-а. Афганис тану – первую пятилетку. Афганцев – в колхозы. Шагом марш из-под дивана. Да здравствуют советские профсоюз зы – школа коммунизма... Сотрем с лица Малой земли Из раиль... Повысим производительность труда до неузнавае мости...

Тоска. Маркс окосел совсем, бормочет:

– Деньги-товар-деньги-товар-деньги-товар-деньги.– И при этом «цыганочку» бацает.– Ух... ух... ух...

Ну все, думаю, хватит, Петя, гулять по буфету, что тебе смерть? Есть заварушки пострашней смерти. Смерть все твои узелки развяжет и разрубит. Пора. Воевал ты, как фронтовой певец и мировая умница, жил же, как вша в неприличной прическе, чубчик пропил кучерявый, Нюшки-ну судьбу, сволочь, разбил, лезь в петлю, солдат, поболтайся слегка между небом и землею, Семирамида пропащая, Герой Советского Союза...

Плачу последний, по моим прикидкам, раз. Последние слезки лью горькие и сладкие от прошлого и будущего...

Конец моего времени подпирает. Не могу смотреть на действительность. Не могу...

Тут Ильич трясет меня за плечо:

– Товарищ Вдовушкин, исполните-ка нам в честь тан кистов, раздавивших польского профсоюзного гада, свою нечеловеческую музыку на слова Кржижановского, буквы Иоганна Федорова.

Выслушал я всю эту белиберду, ровно с того света, и выиграла во мне вдруг солдатская совесть. Есть она у меня, есть, слава Богу. Неужели уж вот так, без песни, покинуть мне навсегда это унылое местожительство? Унылая была бы, Петя, ошибка, стратегическое, более того, поражение, жалкий плен в мосластых лапах смерти. Я петь желаю.

Беру расческу, бумажку папиросную прибереженную к ней прилаживаю, вступление делаю и начинаю глоткою своей луженою, промытою алкогольной мутью из-под мозгов Маркса, Энгельса, Канта, Гегеля, Буденного: «...двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

На одной ноге стою, без костыля и палки, потому что успел выкинуть в окно их ввиду ненужности, пусть мальчишки подберут их и в инвалидов поиграют, память обо мне на краткий миг побудет безымянная... Долго ли, думаю, до табуретки доскакать и башку непутевую сунуть в петлю? Не долго.

Но вот стою, пою и чую, что каким-то чудесным образом я – Петр Вдовушкин, без пяти минут самоубийца, оживаю. Оживаю в себе, как говорит Маркс, когда ему жена пожрать по воскресеньям приносит... Веселею. Не может так быть, чтобы я сам этот жуткий клубок не распутал беспощадно и скромно. Чую, что чего-то не хватает мне для повешения, пренебрегаю смертью, пою, заливаюсь: «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...»

Помру, но не отступлю, повоюю с Втупякиным, попытка – не пытка, елки зеленые, Петя, певец ты мой фронтовой и мировая умница... сколько заветных платочков ровно в четыре часа...

Хлобыстнул еще от радости продолжения жизни полкружки мозговухи ужасной и смотрю – Ленин с Марксом на полу посинели, хрипят, согнулись в три погибели от корчей... Батюшки... отравы.

Диссиденты от письма своего оторвались, пальцы им в горло вставляют, чтоб сблевали, но, видать, крепко мужичков прихватило. Мне же хоть бы хны. Я, как говорится, веселый и хмельной. Даже не мутит. Отрыжка только очень зловредная и ненатуральная, преисподней слегка отдает... А Ленин хрипит:

– Наденька... помираю... политическое завещание... зачитать на «Голубом огоньке»... последний и решительный бой... шагом марш из-под дивана... проклинаю...

Скачу в процедурную, тормошу Втупякина. Тот пьяный вдребадан. Диссиденты вопят:

– Ленин дуба врезал! Врачей! Маркс погибается!

Снова тормошу Втупякина, а он орет неменяемо:

– Не мешай дышать, гад, не то вторую ногу из жопы выдеру. Прочь!

Ужас, что творится. На помощь никто не приходит. Какая уж тут помощь в День танкиста? Все в свое удовольствие живут. Спирта у санитаров хватает... у Маркса на губах пена желто-зеленая, глаза на лоб от боли лезут. Тут здоровый человек тронулся бы на моем месте. Что делать, спрашиваю Ильича, водой его попоивая. Растерялся я.

– В мавзолей... Ежова прочь... гроб дезинфицировать хлоркой... – продолжает хрипеть Ленин. Сам я вроде не поддаюсь отраве. Зачем ей меня брать, если я сам туда собрался (курсив мой. – П.В.).

– Петя, поди ко мне, – зовет вдруг Маркс. Подхожу и наклоняюсь. – Тебе одному доверяю... больше некому... кончаюсь нелепо... передай во что бы то ни стало жене... весь капитал... под девятой яблонькой слева... в саду у тестя... запомни... не в нашем саду... в тестевом... поклянись надо мной... выполни с честью и эту мою заповедь...

– Клянусь, – говорю, – если жив буду и волен, передать все как есть твоей бабе.

– Хорошо... кончаюсь... над нашим прахом прольются слезы благодарных людей... Ленин – говно... отравил-таки... их бин глюклих... Петя... призрак коммунизма бродит по палате... Я честно тебе скажу... Балабан я... Состояние имею... от диктатуры спасал... не вышло... хрен с ним... болит...

Тут врач наконец приперся дежурный. Еле на ногах стоит. Маркса почерневшего приказал унести на промывание, а у Ленина пульс прощупал. Простыней его накрыл и говорит:

– Ленин мертв всерьез и надолго. Пусть до утра здесь возлежит. У меня ключей нет от морга. Нечего дрянью жрать всякую.

Прикрыли мы Ленина казенной простышкой. Маркса, зашедшегося в крике, на носилках утащили. Над Лениным Степанов, как батюшка, всю ночь остальную молитву читал. А мне уже не до смерти было. Петлю свою самодельную, с нехорошим чувством, выкинул в форточку. Под окном костыль мой с палкою валяются. Пригодятся ведь еще, а я их, дурак, выкинул, мудрости нет во мне ни на грош.

С историей болезни Марксовой поступил зато своевременно в предчувствии шума и генерального шмона. Тут я был мировым умницей, маршал.

А шум был из-за истории великий. Втупякин просто посерел до прозелени на физиономии, когда хватился. И страшал он нас, выпытывая, где история, и заманивал, и короба гостинцев сулил, только отдали бы обратно, если стырили по неосознанности. Никто из нас не раскололся. Хорошо, что Ленин вовремя дуба врезал. Этот продал бы всех наилучшим образом. Не раз продавал по пустякам, потому что у него, видите ли, от партии нету никогда никаких секретов... Все же я его жалел. Он как-никак первый поверил, что я не Леня, а Петя Вдовушкин, Петр...

Уперлись мы все на одном: нам своих историй болезней хватает. На хрена нам еще чужие? Мы что, сумасшедшие, что ли?

Особенно диссидентов пытал Втупякин. Сгною, говорит, сволочи, всех до конца, сами себя узнавать перестанете в зеркале. В ЦРУ решили переправить или в Израиль? Кроме вас, некому было стырить секретную документацию, я вас в органы передам, манию величия преследования пришью на веки вечные, чтоб Америка вас, психов, к себе не пустила, на Родине, скоты, до гроба загорать будете, век свободы не видать, отдайте, три литра водки принесу... А Гринштейн со Степановым, к большой моей радости, отвечают:

– Ты сам продал, скорей всего, сверхсекрет истории болезни нашего Прометея английской разведке и следы заметаешь. Врачи, соблюдавшие клятву Гиппократова как зеницу ока, они никогда не теряют истории болезней. Сам расхлебывай теперь кашу, а мы жаловаться будем и голодовку объявим за все твои угрозы. Конституцию соблюдай хотя бы, свинья тупая с вымазанным нашим здоровьем пяточком...

Как ни странно, примолк Втупякин. Осунулся. Калечить нас прекратил и вышел из положения очень ловко. Новую историю целую неделю писал ночами с двумя повышенца ми. Ведь Маркс выжил в конце концов, но ослеп от мути алкогольной из-под чьих-то мозгов напрочь. И пошел слух по дурдому, что Втупякину жена Маркса взятку дала приличную, типа десяти тыщ новыми, за комиссование мужа. Втупякин созвал консилиум под своим руководством, и решили Маркса освободить на поруки родственников как тихого и слепого безумца. Вот как, маршал, дела свои надо устраивать. Тут я Втупякина не осуждаю. Ему тоже жить как-то надо, не таскать же с кухни помой для поросят в портфеле, как это наловчились санитары поступать ввиду отсутствия мяса на прилавках.

Повеселел Втупякин. Помягчел слегка от самодовольства и наличия крупного капитала. Снова за свою диссертацию, то есть за меня, принял. Я и делаю тогда резкое заявление:

– Ты хоть и Втупякин, но не мировой умница, и тебе меня не перегнуть ни шоками, ни химией, раз я уцелел от смертельной мути из-под чужих мозгов, только свет помрачился в глазах. Раскроется рано или поздно, что я – Вдо-вушкин Петр, Герой Советского Союза, фронтовой певец, ныне калека, страдающий за свое же раскаяние души и лукавые помыслы ума. И ты погоришь тогда со всеми потрохами, ибо тебе генералы и маршалы не простят глумления над памятью страшной битвы и страдания народа. Не перегнуть тебе меня все равно, если я не то что совсем, как Маркс, не ослеп, но и не подход, как Ленин. Говорю так смело, потому что желаю сделать основное заявление для новейшего доказательства натуральности своей личности и ничего не боюсь. Слушай и передай дальше: в целях спасения личного состава дивизии от безумных приказов комиссара, гнавшего всех на верную и бесполезную смерть, я выстрелил в него из боевой винтовки – номер ее забыл, виноват – и сэкономил сотни солдатских жизней, прорвавших затем окружение, отстояв честь Родины и жизнь на земле как таковую... Что скажешь?

– Фамилию комиссара помнишь, Байкин?

– Во-первых, – отвечаю вежливо, – не Байкин, а Вдо-вушкин, а во-вторых, фамилия комиссара была Втупякин. Хорошо помню.

– Очень интересно, – обрадовался Втупякин. – Умница. Ты у нас прямо гений паранойи. Большую задачу помогаешь мне разрешить и кое-что повернуть по-новому. Спасибо тебе.

– Стараемся, – говорю, – как можем. Правда – она всегда концы с концами свяжет, – смутился я, как человек прямодушный, от втупякинской похвалы, не дошла до меня его радость.

– А теперь поясни, какую ты цель преследуешь таким решительным признанием?

– Хочу, – говорю, – предстать перед любым судом во имя правды всей этой истории. Доказать желаю, что это я, а Леня это Леня, мой друг, и что нога моя правая закопана вместе с ним. Почему он должен числиться неизвестным по моей вине и оттого, что на месте нашей законной могилы Втупякин дачу выстроил для своего паразитского семейства?

– Кто построил дачу? Повтори, пожалуйста.

– Втупякин, – повторяю. – Секретарь обкома тогдашний. Теперь в ЦК небось перекочевал.

– Очень хорошо. Конфетка у нас с тобой получается, а не картина заболевания. Ну, а дальше что, Вдовушкин?

Верись, маршал, вновь заплакал я, услышав от Втупяки-на родную фамилию. Прошибаю все ж таки стену эту толщенную, непрошибаемую вроде бы.

– Дальше, – говорю, – могут отобрать у меня геройство за ликвидацию комиссара. По Уставу не положено было убивать его в бою. Готов держать ответ за это недоразумие. Я не ради Золотой Звезды стараюсь, не за побря кушку борюсь. Желаю перед женой предстать таким, как ков я есть, на очной ставке. Суда ее желаю. Убедительно об этом прошу. Враз меня Нюшка признает родным супругом. Надо только нашатыря припасти на случай кондрашки. У баб от таких дел ноженьки подгибаются и дух пропадает... Тут и конец твоей диссертации, доктором станешь, пивка попьем на хоккее.

Ручки потирает Втупякин и смеется, довольный.

– Занятно. Комиссара никакого ты, конечно, Байкин, не убивал. Это у тебя бешеная ненависть к партии и правительству, остроумно под болезнь замаскированная. Ведь ненавидишь ты их вполне разумно? Не бойся говорить, под следствие ты с этим диагнозом все равно не попадешь. Не навидишь?

– Разумеется, – говорю откровенно, – любви мне к ним питать нечего ни за свою судьбу и жизнеустройство, ни за распорядительство хозяйством, снабжением и прочей народной жизнью. Не за что мне их любить, но и я от них к себе лично любви не требую. Не унижусь, хоть и дошел я до последней жалкости и распиздяйства, извини за выражение. Я лишь прошу по закону раскаяния не затыкать мне в глотку правду моей судьбы и ложь заблуждения. Раз ты есть государство, то восстанови право гражданина на обретение похоронного имени, а прожить я и без твоей ласки и заботы проживу, в гардеробе театра устроюсь пальто подавать и с биноклей гривенники сшибать. Так что вот.

– За откровенность лишнюю котлету велю дать тебе сегодня, – говорит Втупякин. – Ну, а скажи со всей откровенностью: настроений и мыслей ты у Степанова с Гринш-тейном нахватался? Ихнюю музыку повторяешь.

– Они, – говорю, – сопли еще глотали, когда я горя помыкал из-за фамилии и колхозной отвратительности, для крестьянина почти невыносимой. Я и сам поучить могу десяток диссидентов настроениям и мыслям. Так что давай бери ближе к очной ставке с моей женой, а то я Сахарову письмо накаваю.

– Сахарова ты скоро на психодроме увидишь. Там и потолкуете о бесшабашных претензиях к нашей Родине... Добьюсь, чтоб перевели его к нам из Горького... А насчет Нюшки

так называемой... Устроим вам очную ставку по линии научного эксперимента. Отчего не устроить? Ты ведь в руках советской психиатрии, а не зарубежной. Женщина сама просит повидать тебя. Смутил ты хамством жену героя. Ради нее на это иду. А если расскажешь, кто стырил историю Карла Маркса, я тебя раньше времени выпишу и в санаторий помещу хороший. Укол могу сделать, чтобы желание половое в тебе проснулось. По рукам?

– Насчет желанья – не бойсь. Проснется, когда надо будет, не проспит... Болезнь же, то есть историю, Ленин сжевал. Странички вырывал, на кусочки мельчил и ту самую муть мозговую ими закусывал. Глотал, пока не помер. Унес с собой, как говорится, в могилу всю историю. Такие дела.

– Ну иди, скотина. Чтоб через два дня бритый был, не вонючий от мочи и не оборванный. Штанину подверни поизящней и культу свою не демонстрируй. На ставке, при эксперименте, не вздумай беситься. Я тебе потом так побешусь, что дерьмо собственное за конфету «Мишка на севере» примешь, выть две недели под сеткой будешь и железо кровати кусать. Понял?

Я – в слезы от безумной надежды. Снова открылся от радости ихний источник.

– Спасибо, – говорю, – доктор... спасибо... век не забуду... спасибо... все ж таки какой ты ни на есть злодей ученый, а русская в тебе под халатом теплится душа... спасибо...

– Души нету в нас, дурак. Есть лишь душевные болезни ума, – говорит Втупякин без бешенства обычного.

Отковылял я в палату вприпрыжку, рыдая от счастья. Близок мой день, близок. Ничего я не боюсь. Сгорю от стыда, вины и позора, но возрожусь. Непременно возрожусь, за убийство комиссара готов срок отволочь, хотя и не жалею, что убрал его с поля боя, самоубийцу очумелого и по-гонял казенного, прости, Господи, грех вынужденный, ради солдатских жизней и победы принял я его на душу, прости... Свет ведь засиял в мрачной пещере моего последнего времени. Есть для чего и для кого жить тебе, Петя, сын Родины и, как говорится, враг народа... Много света, маршал, просто глаза режет, невмочь, ничего не вижу, руками ощупываю себя, койку, диссидентов обоих и еще какого-то нового мужчину в палате, а в глазах лишь свет с искорками ровно в кино или по телику – застлало глаза.

– Это у тебя, Петя, от ленинской бормотухи слепота пошла. Взяла наконец. Не нервничай. Ты мужик дюжий.

Терпи. Может, еще прозреешь. Так бывает.

Степанов так меня успокаивал, а новый мужчина руку мою взял и целует с ласковыми словами:

– И не сумлевайся, подпиши наряд на три скрепера, а мы тебе железа листового подкинем и шарфов мохеровых три кило. Уважь, Данилыч.

– Уважу, – говорю, – милый, уважу, не бреди себе душу говном всяким. Что нам стоит дом построить? Лишь бы по праздникам на работу не гоняли.

Отвлекла меня на чуток от своих мытарств чужая беда. Даже полегче стало, да и новый сосед привязался ко мне, за какого-то министра принимает важного, который наряды на бульдозеры в Москве подписывает. Чиркаю на бумажках подпись – Вдовушкин. Не глядя чиркаю. Вспомнила рука, как буквы по трудодням выводила и протоколы допросов подписывала в НКВД... В сортир меня водят люди по очереди и на прогулку. А я, не переставая, терзаю себя: вот тебе и ход судьбы тухлым конем, Петр Вдовушкин, фамилия твоя больно печальная.

Затих во тьме уныния. Неужели за комиссара выпало мне такое наказание? Больше не за что. Остальное я себе только поднаваливал, себя казнил и подводил под монастырь. Больше я никого не обижал. Баб жалел. Сам голодал, а Машке последний кусок подкидывал... Или за врачуху карает меня Господь?... Может, если б не холодный тот разговор с презрением и обидой, не равнодушие мое к любящей твари женского рода, и осталась бы

в живых она, разродившись ребеночком?... Кто знает?... В темноте видней вроде бы становится отдаленная жизнь, маршал, и ничто не мешает разобраться в ее непоправимостях... Затих я. Не было в моей жизни беднее минут, часов и дней. Порешил бы себя, если бы не свидание.

А Втупякин изгиляется:

– Поделом тебе, пьянь, не будешь гадость казенную гло тать. Как же ты теперь жену свою опознаешь? Пощупать пожелаешь? Пропил зыркалки?

Умираю от этих слов, умираю, не могу...

– Мы напишем жалобу генеральному прокурору, – заступился за меня Гринштейн.– Это садистическое издевательство над инвалидом и глубоко несчастным человеком.

– Да, да, именно – глубоко несчастным человеком, – заявляю.

– Лечить не нас надо, а таких уродов племени людского, как вы, – кричит Степанов, а новенький мужчина об стену лбом забился и повторяет нервно:

– Дайте нам бульдозеры... дайте нам олифы... дайте нам джема клубничного...

– Так, значит, – говорит Втупякин, – опять забунтовали? Подновим блокаду.– Крикнул санитаров, паскудник. Вяжут, чую, диссидентов со строительным человеком, рты им заткнули, мычат они невыносимо, к койкам ремнями пришвартованы. Меня в этот раз в покое оставили. Без глаз я, без ноги, без костыля и палки – полный калека. Язык бы еще отнялся, думаю, к чертовой матери – и совсем был бы, как статуя в парке, пацанами оболваненная...

Но, с другой стороны, в темени сплошной как бы отдыхаю я от долгой неправильной жизни, в память ухожу все глубже и глубже, назад, так сказать, покатился, ровно обрубок войны на тележке с колесиками с асфальтовой горки... Мамашку и папашку только вспомнить не смог, потому что кутенком еще слепым был, когда ваша зловонная власть разлучила их со мною жестоко и по очереди... Бабка Анфиса... деревушка... рыбалка... телок в сенцах зимних теплым и кислым дышит мне в нос... пауков в летнем сене ловлю, косиножек... ноги им отрываем и гогочем... каково пауку без ног, Петя, понял теперь? Вот она – гармонь моя с малиновыми колокольчиками... волна в руках, а не инструмент... ты сыграй страдания, Петя... Нюшка это просит голосом своим небезразличным к чубчику моему... Господи... жизнь ведь была у меня, несмотря на втупякинскую власть... была, потому что сильнее она Втупякина, и будет жизнь, если не для меня, то для других женщин и мужчин, сколько бы ни отвлекал от нее Втупякин горловыми, натужными зазывами вперед – в пропасть злоещую... по краю пропасти дружной кучкой идут, крепко взявшись за руки, Ленин с друзьями безумными.

Как бы, думаю, остановить их вежливо и обратиться к другому, менее рискованному для людей делу?... И как же скончавшийся от мути Ленин мог заглядывать в пропасть, если он высоты терпеть не мог?...

Ковыляю, прыгаю от койки к койке, водицы подношу братишкам привязанным, кляпы изо ртов вынул им, успокаиваю, ухаживаю, одним словом, слепой, но вольный сравнительно человек... Два дня продержали бедняг в путах с замками...

Еще одного нового привели, вместо Маркса, очевидно. Священник, как понял я из разговоров. Голос мягкий, веселый и спокойный поразительно. Как в палате дома отдыха после обеда, когда размор забирает полдневный. Дайте, говорит, мне лист бумаги, и я с карандашом в руке докажу вам, как дважды два, что в Патриархию проникло КГБ с погонами под рясами. Православные люди всей планеты обязаны изгнать сатанинское отродье из лона Святой Апостольской Церкви. Как можно считать безумцами тех, кто лишь указывает на очевидные факты и понимает их смысл? Молюсь за исцеление гонителей и лжесвидетелей... Степанов заспорил с ним:

– От Бога советская власть или нет?

– Не мучьте меня, голубчики, – тихо и весело взмолился бедный, – сомневаться и я в этом изволяю – грешен. Должно быть, приятная душе власть – нам в утеху, поганая же советская – в наказание, в испытание. Сказано: всякая власть от Бога. Но если кто полагает, что он ни в чем не повинен, а терпит измывательство и удушение сердечных стремлений с покушением властей на Дар Божий – на Свободу, то я дерзну сказать следующее, открыв вам свои сокровенные уразумения. Если выпало нам счастье и радость унаследовать **жизнь**, то как же, унаследовав ее, оставить себе в долю лишь сладкие милости, а накопленные за долгие грешные века неприятности отделить от судьбы частной и общих судеб? Не отделишь, сколько бы ни рыпался, милоч. Принимай сладость с горечью, свободу с неволей, свет со тьмою... – примолк батюшка, ибо понимаю, что на меня он в данный момент глядит с испугом и сожалением.

– Мне, – говорю, – не горько от ваших слов, а наоборот... светло.

– Помоги тебе Господь, милоч. Я вот помолюсь за твое исцеление.

– Спасибо, батюшка. Исповедуй меня до обеда. Давно не исповедовался... А таблетки выблеивай обратно. Я тебя научу. Лучше тело вывернуть наизнанку, чем душу и имя.

– Хороший совет. Непременно выблюю. Не поддамся адской отраве.

– Нет, отец Николай, – вдруг после рассудительного молчания говорит Гринштейн, – советская власть – не власть вовсе. Вот в чем дело. Она – выродок идеи власти. Произвол она гнусный морального, бескультурного, безликого отребья, присосавшегося к нашим душам и шеям. Вот и все.

Тут Втупякин заявился.

– Ну, – говорит, – приготовляйся, Байкин. Завтра ран деу я тебе устрою, чтобы от мании ты избавился и остаток слепых дней провел в престарелом доме. Хамства не позволяй. Вдова всю жизнь, можно сказать, на ожидание мужа ухлопала, а ты хамишь при вручении ей наград законного героя. Если бы не диссертация, ни за что не устроил бы такого дела. Понял?

– А ты, милоч, сообрази на одну лишь секундочку, всего лишь на одну единую, что сосед наш не ошибается, но правду сущую открывает, – говорит батюшка. – Разве в науке отменен метод предположения, каким бы парадоксальным он ни казался смущенному разуму?

– Умничаешь, Дудкин. Если я как советский врач-психиатр предположу такое, то всех вас надо шугануть отсю-дова, а меня заключить на ваше место для принятия курса активного вмешательства в пораженную безумием психику. Фрейдизм пушай предполагает. Мы же – медицинские большевики – и впредь намерены исключительно утверждать.

Все трое почему-то в смехе закатились безудержном над Втупякинским.

– Посмейтесь, посмейтесь. Завтра я вас приторможу слегка. Поплачете, – говорит Втупякин и снова в какие-то рассуждения о здоровом смысле пускается.

Не прислушиваюсь. Уходит душа моя в единственную пятку от безумного страха и еще более безумного восторга... Ты действительно представь и себя, маршал, в моей страдающей шкуре хоть на минуточку, если способен еще представлять что-нибудь, кроме премий, бриллиантов и сабелек... Лежу, ослабший от искреннего нежелания принимать пищу... Лежу, молодость свою припоминаю и как задыхался от одной только мысли о Нюшке... жена моя, Настенька, Анастасия, что же с нами обоими наделал, подлец... и тьма в глазах, лишь слезы тьму подчеркивают, ровно звезды июньскою ночью в четыре часа... Киев бомбили нам объявили, что началась война... чем же занимался я, когда ты, ни за грош пропадая, баба красивая и молодая, Петра своего, любимого больше жизни... ты говорила, что не забудешь... ждала, Господи, прости, вот она, кара Небесная за все грехи мои пришла, сил нету выносить, порази меня, Господи, убей или исцели хотя бы частично... как же не учуял я Нюшкиной жизни, чудом спасенной... с целым колхозом спал, пацанвы наплодил видимо-

невидимо, все голубоглазые, кровь с молоком и щеки красные, теперь уж сами небось в отцах ходят, отчего же не с тобой я их прижил, ешак блудливый...

Лежу на койке дурдомовской, мечтаю во тьме, как все у нас с Нюшкой могло быть иначе, красивей и со счастьем, спирт проклинаю ленинский из-под чужих мозгов умалишенных, загубил он фронтового певца. Пули не взяли человека, осколки не взяли, Бог его миловал чрезвычайно, и ангел-хранитель берег, а Ленин доконал-таки, проказа... Зачем такому человеку жить? Смотреть на него страшно, сам же он никого и ничего уже не видит. Тьма... Однако самоубиваться не рассчитываю почему-то. Достичь жажду бережка правды, а там авось во благо какое-нибудь по новой вынесет...

Побрили меня диссиденты. Приодели. Ободрили. Ни в ком сомнения нет, что случай мой натуральный, а не мания преследования величия. Батюшка молитву вознес за меня:

– Господи, прости рабу Твоему, Петру, тяжкий грех лжи, убийства и подбострастия с пребыванием в чужой личине, не ведал, дурак, что творил, прости и помоги, Отче наш...

– Ну, пошли, – говорит Втупякин, – хамить, повторяю, не вздумай, пощупать не стремись. Она сама не слепая. Не ошибется.

– Это верно, – говорю, – я ведь узнал ее, и она должна не промахнуться, что с того, что много очень лет прошло.

Костыль сует мне новый Втупякин. Выкинутый мальчишки утащили для игр военных. Разорилось родное правительство на костыль инвалиду, калеке войны, на палку, видать, не хватило, все на космос ушло... Ладно...

Идем куда-то по коридорам. Прихожую дурдомовскую миновали... Налево. Направо... Дышу с трудом... На костыле обвисяю... Сил нет ни в ноге, ни в сердце... Тьма... Зуб на зуб не попадал бы, если б таковые имелись...

– Ну, садись, Байкин, и сиди спокойно. Воды вот по пей.– Втупякин это сказал. К стулу меня подтолкнул. Сел я. Водички попил. Валерьянка в ней была. Сижу. Жду. Сей час, думаю, Нюшку введут, по шагам узнаю ее, помню, как летала по хате, – половица не скрипнет, только ветерком тебя обдаст... Дождались свиданки. Какой я ни на есть раз валюха, а все же живой человек, не мертвый, вроде Лени и Ленина... Простишь ли ты мне, жена, тех бабенок колхозных, несчастных вдов и горячих во вдовьей безысходности существ? Простишь ли грех, обрекший двух родимых людей на вечную почти разлуку?

– Кто тебя мерзостью этой напоил? – спрашивает с интересом Втупякин.

– Ленин, – отвечаю с охотой поговорить, потому что невмочь молчать в ожидании свиданки.

– Одни пили или еще кто с вами был?

– Маркс еще молодой был, но не надо меня Байкиным называть при жене. Не называй больше.

– Не он это. Не он, – сквозь слезы выкрикнула вдруг женщина в помещении этом.– Ни ростом, ни лицом, ни фигурой не вышел... Уведите вы его, несчастного больного человека, ради Бога. Сил моих нету.

– Хорошо присмотрелись, Анастасия Константиновна? – спрашивает Втупякин, а я ушами продолжаю хлопать.

– Чего уж тут смотреть... горе одно...

– Слышал, Байкин?

Я-то слышал, но не признаю Нюшкиного голоса за давностью в тридцать с лишним годочков. С мыслями собираюсь ошалелыми. Если б не химия, я бы быстрее распорядился, не припоздал бы тогда.

– Господи. На что только в жизни не насмотришься, – говорит напротив меня женщина, и волнение такое вдруг потрясло сердце оттого, что ее это голос, ее, что сорвался я с места ей навстречу, но санитарские и втупякинские чугунные руки пригвоздили меня к месту.

– Нюшка! – ору, – Нюшка! – Но издаю, маршал, к ужасу своему, мычание, коровье мычание и ничего больше, как на поле боя после контузии и еще пару раз после белых горячек.

– Не мучьте его... уведите Христа ради... если нету у него никого, вот... денег возьмите на всякую прибавку...

– Нюшка, помнишь, как сказал я тебе, чтоб подумала выходить за сынка расстрелянного? Помнишь? – говорю это и еще что-то из знакомого нам обоим, губами шевелю с выражением, но мычание лишь безнадежное вырывается изо рта моего, напрягшегося до предела.

– Ну, пошли, Байкин, пошли, будет, успокойся, – подталкивает меня Втупякин.

– Помнишь, Нюшенька, загашник я тебе оставил – три монетки золотые, царские червонцы? – ору и понимаю, что мычу я, мычу и мычу, не могу остановиться. – Я Петька твой. Петька. Признай меня. Прогони их из комнаты... я тебе ночь нашу первую от души припомню... не уходи только... только не уходи навсегда...

– Да уведите вы, наконец, человека. Что вы мучаете его? – вскрикнула моя жена, я рванулся к ней снова, но тут подхватили меня под руки и поволокли прочь, рот заты кают, как всегда в таких случаях, чтоб не мычал. Укол ка кой-то прямо на ходу воткнули, гадюки, бьюсь у них в ру ках, вырываюсь, потом провалился в невменяемость...

... Сижу потом в курилке, курю и думаю с терзанием: как это я не учуял, что сидела она в комнате, когда мы заявили туда с Втупякиным? Как же я дал маху такого непростительного? А все сослепу. Глаза не видят, значит, никого как бы и нет рядом... С неделю лежал я в отключке, пока не очухался... Прозреть начал постепенно, но радости от этого не чую никакой. Зачем мне все это дело с жизнью на земле?

– Только, Петя, в уныние не впадай, – увещевает ласково батюшка. – Все наладится у тебя. Терпи. Выйти отсюда – твоя задача. А там через **слово** образуются так или иначе ваши отношения. Ты уж немало бесов одолел, от дури ленинской спасся, неужто теперь сдашься на милость сатаны? Обводи змея вокруг пальца. Мы, Петя, живучими должны быть непобедимо до самого конца, за пределом сил нас самих попросят сложить руки на груди и глаза прикрыть упрямые, не беспокойся, милоч.

– Дело, – отвечаю, – говоришь, батюшка. Будь по-твоему. Но сам ты ни в коем случае химию не глотай, не то они вытравят из тебя все святое и в мычащую скотину превратят... Вот диссиденты, послушались бы меня с самого начала и не продемонстрировали бы со сцены тупость личности перед повышенцами... Хорошо еще, что вовремя спохватились. Тут главное – идиотом вылечившимся придуриваться, а быть себе на уме. Теперь я и поведу такую политику отступления перед хитрым маневром, я ведь, как ни говори, дивизию целую спас и дух победы внушил унылым вооруженным силам. Крестьянским умом ворочать надо, а не комиссарским... Хорошо как, братишки по несчастью, видеть ваши мужественные лица... спасибо вам... после Лени и Машки с врачихой не было у меня в жизни верных друзей...

– Слушай, Байкин, – говорит Втупякин, – ежели ты лечению не поддашься, то сгниешь в дурдомах как социально-опасный урод общества. Выбей усилием воли, наподобие Николая Островского, дурь из головы. Прими помощь химии и советской медицины. Партия зрение тебе вернула, подлецу, хотя и не следовало бы таким, как ты, возвращать некоторых органов чувств. Я из-за тебя диссертацию с хорошим концом никак не защищу.

– Спасибо, – говорю, – доктор, полегчало мне после свиданки значительно. Перестаю быть неизлечимым животным, распад личности преодолеваю. Никакого комиссара я

на войне не убивал. Проклинаю алкоголическое прошлое своей заклиненной жизни... контужен, одним словом, спасибо...

Подозрительно глянул на меня Втупякин, но рад. По два часа, бывает, в кабинете держит, расспрашивает, анализы проводит, фотографирует, ручки потирает, довольный, а я смеюсь про себя, когда прикидываю, что будет с втупякин-ской харей, когда выпишут меня и найду я Ньюшку и никуда она не денется от признания своего мужа... Приедем мы в дурдом, вызовем в приемный покой Втупякина, а на груди у меня геройская звездочка безо всякого ордена Ленина. Этот орден мне не нужен. Я из него сделаю зуб золотой. И скажу я Втупякину так:

– Лишать тебя докторской диссертации мы не желаем, потому что, кроме нее, у тебя, свиньи, ничего нету за душою. Жаловаться не собираюсь. Некому жаловаться. Такие же мерзавцы тупые окружают нас, как ты сам, и нечего зависеть от них нашему достоинству и жизнелюбию. И вылечить мы вас не можем, ибо не такие самоуверенные коновалы, как вы. Убивать тебя я больше не собираюсь. Живи, гад. Мы же подождем, у нас времени много, пока не изведетесь вы сами, вроде динозавров, несовместимых с дальнейшим проживанием на земле и с продолжением рода человеческого... Живи, но пусть тебя смущает содеянное, так чтобы пришел к смертной минуте без покоя в душе. Это и будет казнью твоею, которую, даже если очень того пожелаешь, никак уже не отворишь. Живи...

– Когда выпишут тебя, – говорит Втупякин, – каждую неделю являться будешь за лекарствами. Без них ты долго не протянешь. А водки не пей. Не то укол сделаем, от которого алкоголики помирают прямо под столом. Иди в палату. Забывай все, чего ты от врагов общества наслушался, и не вздумай разглашать.

– Не собираюсь, – говорю, – и без меня все известно.

– Умничай поменьше. Видишь, до чего умничанье доводит таких, как Гринштейн, Степанов, поп Дудкин и Маркс с Лениным? Иди и вели всем на просмотр хроники иди, чувства реальности набираться...

И что, ты думаешь, показывают нам, маршал? Тебя нам показывают в Красном уголке. Всего вроде бы успел нахапать, но золотой медали Карла Маркса тебе не хватило, спать, наверно, не мог спокойно без нее.

Ну и похотали мы все, ровно Чарли Чаплина нам показывали, когда начальник Академии наук вылез и такую выразил похвалу:

– Это высшая награда... присуждена вам – выдающе муся деятелю мирового коммунистического и рабочего движения, за ваш исключительно большой вклад в развитие теории и практики марксизма-ленинизма в условиях современности.

Не сговариваясь, грохнул весь Красный уголок вместе с санитарями и врачами. Чего уж они не удержались, не знаю. Смеху трудно сопротивляться, маршал. Ты ведь и сам небось домой причапал после обмыва медали за научную разработку актуальных проблем развитого социализма и с бабой своей обхохотался над перепуганными до смерти и потери лица академиками, над выжившими из ума жополизами и врялями. Ты же лучше их знаешь, что ты за теоретик и грамотей.

Как простому человеку не задуматься над всем этим киноцирком, если здоровых держат в дурдоме, а на воле такое сумасшествие происходит с вашей общей манией величия и преследования, что только хохотать остается, тем более что Чарли Чаплин, говорят, умер, а смешного с каждым днем становится меньше и меньше.

И брось ты это дело, маршал, пока не поздно. Выгнал нас из Красного уголка Втупякин, к телевизору не велел подпускать целую неделю в наказание за откровенный смех. На врачей и санитаров наорал, злодей со стажем.

Вот и кончается история болезни молодого Маркса. Последняя остается страничка, маршал, которую употребляю на просьбу о прочих невинных и здоровых людях, заточенных в наш дурдом и другие психушки.

Сними со всех постов и отовсюду Втупякина. Без этого всем нам – людям и Родине нашей России – выпадет неслыханная беда... двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили нам объявили что началась война порой ночной мы расставались с тобой синенький скромный платочек падал с опущенных плеч ты говорила что не забудешь тихих и ласковых встреч... плачу, маршал, плачу и слезы свои, кляксочки фиолетовые, кружочками дрожащими обвожу...

Новая Англия. 1980

Книга последних слов

35 уголовных историй

*Сэру Дэниэлу
с глубочайшим почтением
и душевной любовью.*

*Приношу сердечно-уголовную благодарность
за идею сочинения сей книги
Илье Левину-Питерскому.*

Случай в мужском туалете

Гужанов приотягчающих вину обстоятельствах зверски избил в туалете библиотеки имени Ленина гражданина Канады Нормана Фурмана, доходя при этом до актов садизма и унижения достоинства личности пострадавшего.

Последнее слово подсудимого Гужанова

Граждане судьи, от защитника я решительно отказался потому, что если человек дошел до того, что уже и сам себя защитить не может, то знаете кто он?... Предмет внимания канализации, образно говоря. Вот кто...

Я же (перелистайте характеристики) с детства честен. Слесарь-лекальщик высшего пилотажа. Передо мной академики на коленки становятся с просьбой проявить вдохновение и тонкость чутья. Детей имею по фигурному катанию. Вот уже десять лет охраняю общественный порядок и окружающую среду, причем бесплатно. Являюсь председателем клуба книголюбов при ЖЭКе №17. Орденами обладаю трудовыми и медалями. В Канаде был с профсоюзной делегацией и ничего оскорбительного там не совершил по отношению к обычаям и культуре страны, хотя листал развратные журналы, чтобы иметь представление о порнографии... О премиях я уж не говорю, а с доски почета, извините за выражение, не слезаю.

Вот моя защита от имени социального и гражданского лица подсудимого Гужанова, то есть меня лично. Тут вы ни к чему не подкопаетесь.

Заметим для начала, что активно верующим в Бога не являюсь. В церковь не хожу. Не приучен. Дед и бабка, может, если бы довоспитали меня до конца, то и ходил бы и веровал. Но они были арестованы при защите Храма Христа Спасителя от варварства. В ссылке и погибли.

Это, в ваших глазах, – минус в линии защиты, но я не из тех адвокатов, которые темнят за наличные.

Подсудимый Гужанов жену не бьет, но строго обличает в случае чего. Он не алкаш-пропойца. Хотя Гужанов имеет один привод в милицию двадцать лет тому назад...

Соседи подсудимого гуляли наверху после одиннадцати до трех утра, а ему в шесть вставать на работу. После пятого предупредительного стука в потолок подсудимый Гужанов поднялся в чем был на этаж выше. Позвонил. Не открывают. Издеваются. Он вышиб плечом дверь и увидел там то, что впоследствии обнаружил в канадской порнографии, да еще с рокэндролом. Шестеро человек щенков и напояженных поганок.

Подсудимый Гужанов уложил всех на пол, вынул из брюк ихних ремни и высек по голым... выскочило из головы – как это по-интеллигентному называется.

Тут, само собой, подоспела слишком поздно вызванная милиция.

Гужанова и отвезли вместе с бардачниками в отделение. Но привод считался не за то, что я их по-отцовски высек, а за то, что в кальсонах предстал перед советской властью в лице дежурного лейтенанта.

Приплюсуем это к предыдущему минусу. В остальном я чист. Стройматериалов и деталей с завода не тырил ни разу.

Политикой правительства в области расточения средств на Кубу, Вьетнам и Эфиопию в метро, как некоторые, не возмущался. Гонку советского вооружения, покорение Венгрии, Чехословакии и Польши с Афганистаном не осуждал, хотя зачем солдат на смерть и военные преступления посылать, если можно автоматизировать как-нибудь процесс присоеди-

нения к социализму остальных государств? Мы – лекальщики, и не до такой рационализации додумываемся.

Насчет покупки пшеницы у США я тоже красноречиво молчу. Чего тут говорить? Тут все и так ясно, как в анекдоте про листовки.

Однажды, каюсь, хотел было выступить в клубе книголюбов после речи одного идиота Феликса Кузнецова из

Союза писателей, с бородкой и на продажного адвокатиш-ку смахивает. Уж очень лживо и непристойно гимны он пел Брежневу за его сочинения в том смысле, что они выше на голову «Преступления и наказания», но вровень идут с «Войной и миром». Хотел я ему замазать как честный книголюб, но воздержался. Теперь об этом жалею.

Зачем товарищу Брежневу бумагу изводить, когда ее лучше на Чехова употребить, на Шекспира бросить, на худой конец извести на Юлиана Семенова, чем на то, что мы десятилетиями в газетах кушаем? Можете в минус вносить и это мое признание, и, уж если на то дело пошло, считаю я так: с Сахаровым мы погорячились. Надо было его не в Горький сослать, раз встал он вам поперек горла, а в Сочи, на отдельную дачу с хорошим питанием и с врачами. Он же в конце концов озабочен тем, как бы нам не взлететь сейчас, в данный момент судебного заседания, на воздух, к чертям собачьим.

Вступление кончаю. Перехожу к делу. Вон перед вами сидит пострадавший Фурман, то есть Норман с видом Орлеанской девственницы во всей фигуре. И не стечет с его плюгавеньких, холодных глаз горячая слеза раскаяния. И представители посольства тут же. Как будто я врезал пару раз по рылу в лице пострадавшего Нормана, то есть Фурмана, по физиономии дружественной державы. Держава здесь ни при чем, хотя рукоприкладничать к мордасам не следует, даже если перед тобой советский человек, а не плохой гражданин Канады.

Говорю прямо: линию своей защиты строю на том, что подсудимый Гужанов пребывал в форменном эффекте, если не ошибаюсь, или в аффекте – это не важно. Попросту говоря – в приступе благородного гнева и культурного возмущения.

Однако не будем забегать вперед. Вспомните, граждане судьи, что я находился в субботний день в библиотеке, носящей имя того, чье имя я не собираюсь марать в ходе судебного заседания. Там я внушительно готовился к докладу в клубе книголюбов по разверстке райкома партии. Доклад, естественно, был на тему «Царская цензура – палач книгопечатания русской литературы».

Доклад двигался плохо, потому что не удавалось мне отыскать следы преступной царской цензуры в нужном райкому количестве... Сходил в буфет. Пива от уныния выпил три бутылки.

Как защитник Гужанова прошу учесть это смягчающее вину обстоятельство. Так как если бы не пиво, то и не зашел бы он в туалет, где само собой не было бы нашего преступления.

Но до туалета еще я обратился к консультанту с вопросом:

– Цензура была, пожалуйста, в царской России?

– Была. Это общеизвестно.

– Следовательно, вынуждены были писатели, как у нас, прибегать к самиздату?

– Кое-что ходило в списках еще до династии Романовых. Это было нормально для культуры того времени. А при царе, как говорится, цензура иногда запрещала антиправительственные выпады и всегда – богохульство и сквернословие.

– Прошу подсказать, какие именно книги Пушкина, Тургенева, Достоевского, Шекспира, Дюма и Чехова сгноила цензура царя, как, например, мы сгноили Солженицына?

– Кое-что, товарищ, было запрещено печатать русским литераторам, но сочинения их никогда не реквизировались. В полных собраниях вы можете найти все вас интересующее. Даже филиппики Толстого против церкви.

– Ну, а книг при царе много выходило в продажу?

– Не меньше, если не больше, чем в Европе.

– Вот интересно. Выходит – не давили книгопечатания? Черного рынка не было, где всю полочку надо оставить за сказки братьев Гримм?

– Странные вопросы вы задаете, товарищ.

Тут Гужанов ответил, что задашь их поневоле, когда райком доклад требует. Факты-то ведь есть и у Пушкина и у Лермонтова. Выслали же их, опять же, как Солженицына и Юлиана Семенова в Бонн корреспондентом; но это все школьники знают, а мне без новых фактов нельзя, добавил Гужанов, так как райком дал указания не допускать, чтобы в докладе сквозила вражеская диалектика.

Консультант намекнул, что от меня пахнет пивом и что я образовал очередь за вопросами.

Вот тут подсудимый Гужанов, будучи человеком с пониманием культуры, направился, повторяю, от пива и общего недоумения относительно зверств царской цензуры, в сортир, то есть в туалет. А самого по дороге мысль тяготит логичная: ведь если бы цари душили книгопечатание, то Ивана Федорова давно повесили бы уже за одно место. А он теперь рядом с самой Лубянкой возвышается. Где же логика?

Захожу в туалет, то есть в сортир. Смотрите лист дела №36. Явственно слышу подозрительные звуки разрываемой бумаги, что, в общем, в таких местах не новость. Не нормально было то, что оказавшийся впоследствии Норманом, то есть Фурманом очень уж часто спускал воду. Нервно так спускал. Шкодливо, я бы сказал, спускал воду, словно концы в нее прятал.

Граждане судьи, подсудимый Гужанов ясно понял, что кто-то рвет на части печатную продукцию и отправляет ее в канализацию города Москвы.

Тут, говорю в порядке последнего слова, и обуяла меня первоначальная ярость аффекта (эффект – это другое совсем дело), но я еще что-то соображал.

Вхожу быстро в роль следователя, чему научился будучи дружинником и председателем совета жильцов подъезда.

Бешено стучу в дверь и предлагаю немедленно открыть ее. Правильно?

Открывает после паузы этот Фармен, то есть Нармен. Позеленел от страха. Вот-вот в штаны наложит. Глазенки бегают. Челюсть трясется. Классическая картина – мелкая вша и подлец, застуканный с поличным.

Предъявляю красную книжечку дружинника... Одним глазом вижу, что толчок полон обрывков неизвестного печатного текста. Наклоняюсь и в порядке следствия вычитываю первые попавшиеся слова:

«Дни человека – как трава; как цвет полевой он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века».

Я сразу учиняю допрос:

– Ты что же, сволочь, рвешь здесь в священных для книголюбца стенах? Что ты в канализацию спускаешь?

– Я, товарищ, поступаю согласно законам вашего государства, – отвечает эта гнида. Затем подает мне из-за спины не до конца уничтоженную книгу. На обложке – крест.

Священное Писание. То, что после гибели деда с бабкой сгнуло с глаз моих, к сожалению, навек.

– Что значит «сообразно с нашими законами»? – спрашиваю.– Мы – не Гитлер. Мы книг не жгем, но то, что вредно – на макулатуру гоним, а из нее уже полезное вы-печатаваем. Ты что? Иностранец?

– Да. Я как руководитель группы студентов-канадцев обязан следить, чтобы никто не провез в СССР, на родину социализма, запрещенную литературу. При обнаружении, для избежания инцидента, я ее уничтожаю. Понимаю, что можно вывести при этом из строя канализацию. Вы уж извините, товарищ. Если бы я тут Карла Маркса рвал...

В голове у меня от его слов возник горячий тромб непонимания и спазм возмущения. Смотрю лист дела №48.

– Ты что же рвешь, подонок? – говорю.– Ты Книгу Книг рвешь, которая впервой была напечатана на Земле. Ты какие слова в толчок выкинул?

Тут я опять пригнулся к унитазу и цитирую другой отрывок:

«И сказал Иосиф братьям своим: – Подойдите ко мне.– Они подошли. Он сказал: – Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет».

– Ты понимаешь, – говорю, – сволочь, что ты – варвар, мразь и Гиммлер?

Кровь уже нестерпимо ударяла мне в голову, так как вспомнил я любимую сказку свою и историю, читанную мне в детстве дедом.

– Библия на черном рынке 100 рублей стоит, но ее не достать, хотя люди жаждут из нее слов мудрости и пророчеств.

– Странные вещи говорит официальное лицо. Я же, повторяю, не историю партии рву, – наглеет Форман, то есть Норман.

В руках у меня полууничтоженная Книга Книг. В толчке, то есть в унитазе – бесценная красота, никогда не читанная мною в жизни, потому что мы есть – государство-атеист.

Бумага Библии тонюсенькая, нежная, чтобы книгу с собой носить можно было в метро, в автобусе, где человек утром человеку – волк, а вечером – шакал, и так далее.

И стоит передо мной канадец, руководитель, интеллигент, судя по трясущейся челюсти. Русский язык у него приличный, с мордовским акцентом.

Вот тут я его в память о бабке и деде, тут я его в память о детских своих сказках и раздумиях о сотворении мира, тут я его в память о взорванном Храме Христа Спасителя и за весь наш заодно клуб книголюбов – хрясть этой Библией по харе, хрясть еще раз, и говорю:

– На колени, падаль! Ниц, вандал. Не то – на месте пулю в лоб всажу. Вот где, оказывается, царская цензура ошивается для моего доклада. Из Канады она пожаловала! Падай, сука.

Падает нехотя Форман, то есть Норман, на колени перед содеянным.

– Жри, – говорю, – гадина фашистская, жри...

Граждане судьи, вина подсудимого и моего подзащитного Гужанова отягчается, конечно, тем, что он предварительно запер двери сортира, чем вызвал долгий ропот читателей. Прокурор тут доказывал, что в состоянии аффекта преступники обычно забывают закрывать дверь, и им наплевать – наблюдают за ними или не обращают внимания.

А я, как защитник собственный, имею контратаку. Подсудимый Гужанов, даже будучи в аффекте, не забыл о том, что он – советский человек и обязан предотвратить публичный скандал с участием Канады. Зачем Министерству иностранных дел сюда вмешивать и послов? Лишнее это. Вот он и закрыл дверь ручкой половой швабры...

Не могу не признаться, что уже в порядке окончательного аффекта затолкал я голову пострадавшего в толчок, заставив его разжевать и проглотить обрывок со словами:

«Смерть, где твое жало? Где твоя победа?...»

Сколько всего он съел намочшей бумаги, я уследить и подсчитать не мог, но ясно было, что от перепуга человек старается, жует и заглатывает. Мы – СССР – сумели все-таки внушить разным государствам страх и почтение.

Я и не скрывал на предварительном следствии, что стукнул при этом нашего дорогого гостя и, как написано в протоколе, большого друга СССР пару раз лбом о край толчка, но исключительно ради пушшего вразумления. Не согласен, что это – садизм. Садизм был бы в деле, если бы Гужанов заставлял пострадавшего только лишь есть бумагу, но запивать бы не давал. Он с этой целью и тыкал Нормана, то есть Фурмана, носом в воду, чтобы запивал, а не с целью особого цинизма, как старается доказать прокурор, низкопоклонничающий перед какой-то... одним словом – Канадой.

И никакого умысла злейшего поместить Бормана, то есть Мормана, в клинику с заворотом кишок я не имел. Отвергаю поэтому энергично часть вторую моей статьи.

Иск же за лечение на 568 рубчиков тоже отвергаю с особым негодованием. У нас бесплатное еще, слава Богу, мед обслуживание. Мы даже убийц в тюрьмах бесплатно лечим, а варвара из Канады, выходит, за мой счет вы очищали от съеденной Библии?... Так не пойдет дело. Так мы с вами далеко не уедем, граждане судьи. Деньги надо содрать валютой с пострадавшего вандала и купить на них пару лишних тонн пшеницы у Канады.

Я на основании всего сказанного предлагаю оправдать подсудимого Гужанова. Если вы меня осудите, значит, оправданным будет фашизм, сжигавший книги, и царская цензура, хотя она не спустила в канализацию даже антицарский стишок «На смерть поэта» диссидента Лермонтова.

Считаю необходимым сообщить по месту работы Нормана Формана о происшедшем с удержанием зарплаты и запрещением руководить студентами. Кого он из них воспитает? Красные бригады из Канады?

Убедительно прошу выслать из страны, родившей миру Ивана Федорова, в 24 часа плохого гражданина Канады Фирмена Нирмена и выдать ему волчий читательский билет во все библиотеки прогрессивного человечества.

Местонахождения остатков Библии указать не могу по ряду уважительных причин как председатель клуба книголюбов.

Заканчиваю линию своей защиты следующими замечательными словами, спрятанными мною во время ареста в профбилет:

С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех, делающих беззаконие.

Двое в каюте

Во время рейса теплохода «Аджария» (порт приписки Батуми) в открытых водах Средиземного моря между пассажирами Машкиным и Тихоновым произошла ссора. В каюту, в которой ехали Машкин и Власов, зашел Тихонов и попросил Машкина разрешить ему подождать Власова. Между Машкиным и Тихоновым завязалась беседа, они выпили по кружке пива. Через полтора часа Машкин сказал, что ему нужно идти, и попросил Тихонова выйти. Однако Тихонов, будучи в нетрезвом состоянии, заявил, что никуда не пойдет, стал ругаться и наносить Машкину удары палкой по руке и голове. В ответ на это Машкин стал избивать Тихонова, сбил его с ног, нанес множество сильных ударов по голове, животу и другим частям тела. От повреждения кишечника и кровоизлияния в вещество головного мозга Тихонов скончался.

По прибытии в Ригу Машкин был передан органам следствия.

Последнее слово подсудимого Машкина

Граждане судьи! Сегодня мы с вами присутствуем на судебном процессе небывалого политического звучания и окраски. Да, в результате побоев, нанесенных мною бывшему гражданину Тихонову, он непредвиденно скончался, чем способствовал тому, что я вынужден находиться в данный момент моей безупречной на протяжении последних пятидесяти лет жизни на засиженной подлецами и мерзавцами, ворьем и взяточниками, изнасильниками и злоупотребителями, хулиганами и религиозными мракобесами-сектантами, заодно с идеологическими диверсантами-диссидентами, скамье подсудимых.

Да, Тихонова больше среди нас нет. Но я лично об этом нисколько не сожалею, потому что его и не должно было быть среди нас. Почему именно, я повторю позже, о чем не раз напрямую заявлял на предварительном следствии по моему исключительному делу.

И моя линия на этом процессе, который должен привлечь внимание через газеты, радио и телевидение всех истинных патриотов советской власти, состоит в принципиальном курсе на полное оправдание.

Кроме того, не я обязан оправдываться здесь, а вы сами обязаны меня оправдать с занесением в личное дело благодарности Родины, партии и правительства.

Перехожу к проблеме личности подсудимого, то есть к себе лично. С восьми лет в пионерах. С четырнадцати – в комсомоле. В партию принят сразу после расстрела вот этой рукой пяти латышских националистов в Баугавлисе.

В самом конце войны был призван на фронт. Служил до сорок шестого года в частях особого назначения МВД. Вылавливал в лесах Латвийской ССР фашистских прихлебателей и наемников, а также врагов колхозного строительства, не говоря о прочей националистической нечисти.

Заслуг имею немало, что должно быть вам известно из характеристики, выданной соответственными органами.

Ни разу не дрогнула моя рука, ликвидируя так называемых «зеленых братьев» и их укрывателей.

Можно смело сказать, что, благодаря таким, как я, в Латвии вторично была внедрена советская власть.

Из войск МВД был, правда, отчислен после клеветы. Дескать, я злоупотреблял оружием и ликвидировал целый ряд якобы невинных граждан.

В 1947 году меня не то что за эту клевету не судили, но и присвоили воинское звание старшины с последующей демобилизацией. Имею ряд правительственных наград за успешное проведение операций по ликвидации латышских националистов и за политическую работу с населением освобожденных районов. В деле приложен ихний список.

После армии четыре года работал по рекомендации политотдела особой дивизии в органах милиции города-героя Риги, где проявил себя с самой наилучшей стороны, наводя порядок среди несознательных латышей, привыкших за годы фашистской оккупации к тунеядству и частному предпринимательству. Навели, будьте уверены, граждане судьи, вместе с вами, так сказать, бок о бок, чтобы Латвия наша стала свободной и счастливой в дружной семье народов.

Не раз, бывало, помогал следователям раскалывать отщепенцев всех мастей, и смело могу сказать, что на врага общества глаз мой наметан как у Дерсу Узала из одноименного фильма – насквозь вижу. Жилы вытяну, но правды добыюсь. У врага от одного только моего имени волосы дыбом вставали.

Затем, после марта 1953 года, сами понимаете, что произошло, и разгулявшаяся мразь, которая открыто перешла сейчас в антисоветский лагерь, добилась все-таки моего увольнения из органов милиции за нарушение соцзаконности. Борцы за права человека!

После милиции по рекомендации управлений КГБ и МВД был назначен зам. нач. отдела кадров филиала союзного Института Маркса и Ленина, где и работал до момента моего ареста, вернее, до поездки на теплоходе «Аджария» в туристический круиз по капстранам средиземноморского бассейна.

Я являлся в такой ответственной поездке простым туристом без функции спецнаблюдения за членами группы, что бывало и раньше в путешествии по Болгарии и Франции в составе делегаций ветеранов Отечественной войны.

Перехожу теперь к прямым обстоятельствам дела.

В делегации, честно говоря, сразу видно наметанному глазу – кто есть кто. То есть за чем человек поехал в круиз, оставив своих близких в недоумении относительно своего возвращения на Родину: шумток набрать несчастных с целью фарцовки; взглянуть на различные парфено-ны, коллизии, крематории, в общем, выпить разок и закусить, что тоже в наше время случается; оценить преимущества нашего строя перед гнилой демократией или потратить денежку, наворованную у советского государства. Думаете, мало таких, с позволения, туристов? Навалом! Взятка куда надо – и, пожалуйста, характеристика тебе на блюдечке, путевка, каюта. Кати на здоровье, пяль свои зенки на резкие социальные контрасты и мечтай в глубине души о реставрации на родине всей этой мерзости: продажного бабья, шопов, заваленных джинсами, обжорства, свободы шляться где хочешь и прочих «прелестей» гнилого Запада, не говоря уж о сексуальной революции, пропади она пропадом...

Смотрю, бывало, на какого-нибудь умника из интеллигентов, который слюнями обливается да восклицает: «Ах, родина Баха... Ах, родина Данта... Ах, родина Шопена...» – или Ван Гога хренова, извините за выражение, вместе с Шекспиром да Леонардом да Винчи...

Взял бы, думаю, сейчас тебя, падла, за грудки, потряс бы как следует и спросил бы:

– А у нас, что ли, нету родины гроссмейстера Карпова, Харламова, Вадима Кожевникова, мать твою так, Аркадия Райкина с евонными рожами в адрес недостатков? Нету разве у нас не то что Баха несчастного, а своего Соловьева-Седого с Михалковым и семнадцатью мгновениями весны, зимы, лета и осени? Нету, гад? Что тебе с того, что какой-то Вивальди на этой вот пыльной итальянской плешке симфонию наулюлюкал? А вон в том домишке полуразваленном хмырь средневековой религиозную пропаганду разводил?... Ты ведь в Москву не поехал в мавзолей сходить всей семьей, в мраморный? Тебе плевать, что там в Москве на зоопарке доска висит: «Здесь выступал Владимир Ильич Ленин в таком-то году»?

Тебе заграничный подавай зоопарк, где, видишь ли, на свободе почти разгуливают крупные звери. Вот они и догулялись, что там у них судьей убивают, министров, полицию и так далее, а у нас за убийство даже паршивого дружинника полагается высший расстрел...

Я не случайно все это говорю, граждане судьи, а лишь для того, чтобы представили вы, решая тут мою небесполезную судьбу, атмосферу, в которую попадает настоящий советский патриот, наблюдая за поведением шоблы туристов или даже научной делегации.

Ну, ахи-бахи и ван гоги – это еще куда ни шло.

Теперь перейдем к потерпевшему Тихонову, которого я и сейчас за человека не считаю. Еще в открытых водах Средиземного моря ввелось в меня похабное выражение лица Тихонова. Влезаю, естественно, в доверие к нему через распитие по стаканчику «столицы», захваченной из дому, чтобы не низкопоклонствовать перед вонючими коньяками и кьяньями, на которые, кстати, никакой валюты не хватит, если пожелаешь от тоски по родине надраться, что бывает все же в круизе.

Постепенно обнажается передо мною нутро Тихонова. Техник-чертежник. 29 лет. Не женат, что подозрительно. Может, прикидываю по ходу дела, половой бандит? По публичному дому с детства мечтает, романтик проклятый, мопассанов начитался всяких?...

Думаете, не встречал я таких червяков в заграничных поездках? Встречал. Этот только и ждет, когда руководитель бдительность потеряет, и в первый попавшийся бордель намыливается. Валюту всю спустит, которой нашей партии на народно-освободительные движения и так не хватает, и возвращается, сволочь, в отель, облизывается, как будто ему этого добра в родной Риге не хватает; высылать в Сибирь не успевают органы.

Но развратник все же еще не враг. Он просто от жадности запутался в желаниях урвать от жизни все то, что плохо лежит.

Тихонов же – совсем другое дело. У этого тоска какая-то в глазах и во всем существе, что мне, между прочим, хорошо знакомо. Насмотрелся, по капстранам поездивши. Надоела, понимаю, человеку советская власть хуже горькой редьки, потому что дальше своего пуза он уже много лет не заглядывал и строительством коммунизма не интересовался, как и все мы в этом зале судебного заседания, верней, в отличие от нас.

Поддали еще немного. Вполголоса клевету навожу на порядки у нас в стране, разумеется, не от души, а с целью служебной, оперативной провокации. Что, дескать, и мяса маловато, бесхозяйственность; пшеницу покупаем черт знает где, промтовары то и дело пропадают; днем с огнем, бывает, туалетной бумаги и детской шубенки не сыщешь; портвейн грузины проклятые разбавленный продают, богатеют; бормотухой целый цех в почтовом ящике отравился с получки; ракету, говорят, вовремя с конвейера не опустили, которая для Общего рынка в случае чего предназначена, и так далее.

На пушку беру, короче говоря, пострадавшего. Чую: клюет. Не заглатывает, но клюет.

Да, говорю, плевать мне на все эти джинсы и кофточки; пушу всю валюту на «Архипелаг», Библию и прочую антисоветчину, перечислять ее здесь неохота, граждане судьи.

Это, говорю, хоть для души будет в нашем полицейском государстве, где не продохнуть опять после культа личности; лучших писателей выслали и поубивали к чертовой бабушке; партийное начальство зажралось, при коммунизме уже живет, не то что мы; машины у них со слугами, дачи, продукты первой необходимости от пузяки, медицина с лекарствами из Германии, – я чуть не загнулся в сердечном приступе, валидолу ни в одной аптеке не было, в Москву теща за ним летала; правильно все по «Свободе» говорят и по «Голосу».

Все, в общем, как на экзамене в спецшколе, заметьте, отгитараторил. Ну и раскололся, в конце концов, товарищ Тихонов.

Сначала так по разговору о недостатках разных, потом закосел однажды в открытых водах Средиземного моря и во всю Ивановскую, как говорится, разошелся.

На следствии я слово в слово повторил наговоренное Тихоновым, можете перечитать. Уши вянут, когда вспоминаю. Враг, явный враг, а может быть, и шпион. Смерть помешала нам установить это дело со всею точностью... А про великого Ленина чего наплел?

Не могу! Даже сейчас руки в кулаки сжимаются и зубы скрежещут от всенародного возмущения! Сволочь! Сами понимаете, что если у туриста нету в груди ничего святого ни на грош, то что же он о руководстве нашей партии заявляет и насчет внешней политики? В конце концов до того докалякался, что обвинил наш СССР в преступном наращивании военной мощи для мирового господства и ядерной катастрофы, потому что, дескать, чуют политические банкроты там, наверху, провал своего вонючего учения, экономики, планов и протухших лозунгов... Так прямо и высказался «вонючего учения и протухших лозунгов».

Хорошо, думаю, вражина, проклянешь ты тот день, когда я «столицей» с тобой поделился, от души, можно сказать, оторвал свое лекарство от тоски по родине.

Ничего, успокаиваю его, вот скоро приедем в Неаполь, или в Марсель, книжек купим, сами дома читаем, приятелям дадим – не все же водку жрать, надо и правду знать, чтобы жить не по лжи. Верно?

И вот, граждане судьи, начинает мне казаться, что не провозом нелегальной литературы начинает пахнуть в нашей каюте, а кое-чем почище.

Тот, который книжек покупает, так себя не ведет. Нет. Он, наоборот, наблюдение от себя отводит всяким хитрым макаром, а на самом деле только и делает вид, что валюту свою на пустяки тратит. Выжидает момента, чтобы броситься, как рысь, на всяких солженицыных, пастернаков, автор-хановых и прочую антимахровосоветчину.

Этот тип, может, и не станет провозить всякую свою пакость через нашу таможню. Он по ночам ее читать станет, в сортирах по два часа сидеть с какой-нибудь женой врага народа Ахматовой в руках или с «Лолитой» в городе Рима!

Нет. Мой Тихонов, вижу, поглубже настроен. Что ему «Красный террор» или «Скотский хутор» какой-нибудь?... Держись, Машкин Иван Иванович, не зевай, отплачивай партии и органам за безграничное доверие.

Тем временем Марсель у нас на носу с его прославленной проституцией и агентами НТС, которые только и ждут, сволочи, чтобы вручить зазевавшейся вороне свою брошюру, журнальчик, Сахаровых, Максимовых и прочих отщепенцев.

На доньшке бутылки моей грамм сто всего остается. Тихонов, надо отдать ему должное, за своей сбегал, еще поддали, и он говорит мне следующее:

«Хороший ты, Иван, душевный человек, во всем тебе доверяюсь и прошу помощи личного характера. Душу мою ты узнал за эти дни, а также настроение и мировоззрение. Там больше жить не могу. Подперло под горло. Рак души у меня от советской власти и от того, что делает она не только с нами, русскими людьми, но и с прочими младшими братьями. Дышать не могу и сделать ничего нельзя, два приятеля в психушку посажены ни за что ни про что. Или на свободу попаду, или смерть, а тебя прошу как душевного человека – позвони, если удастся мне свалить, по двум телефонам и скажи им мои слова прощания и прощения. Не могу больше. Имеет человек право на свободу, имеет!»

Так, думаю, граждане судьи, свободы тебе, гадина антисоветская, невтерпеж захотелось! Ну, ты получишь у меня такую свободу, что век ее не забудешь!

Однако маску дружелюбную не скидываю: рано еще, надо затравить свободолюбца плотнее, а тогда уже – за горло, как говорится, можно взять мертвой хваткой и открыться злорадно. Для матерого врага это тоже пытка, что не его взяла, а наша. Вот как дело происходило в открытых водах Средиземного моря.

Я веду линию на полное свое оправдание и на послежизненное осуждение пострадавшего Тихонова как злейшего предателя всех наших интересов.

Ну, смотрю в иллюминатор – Марсель проститутский на горизонте высобачивается. Дернули еще с Тихоновым по полстакана. Я для пущего блезиру сельское наше хозяйство лягнул с жилищным строительством заодно и хоккеистов-сволочей – олимпийские игры, гады, проиграли в Америке.

Совсем близко Марсель. Решаю оперативную задачу, и тут, по-моему, даю небольшую промашку. Давай, говорю, телефоны своих друзей, берег скоро.

Написал он их и велел притырить получше от шмона на таможне в Риге. А теперь, говорю, давай двигаться, Тихонов.

А у него – глаза на лоб. Голос меня выдал. Так, бывало, в кабинете или в камере говоришь тихо и вкрадчиво: «Ну, пошли», – и от этого одного у тварей всяких, «зеленых братьев» и так далее ножки в коленках подгибались.

– Куда, – говорит, – пошли?

– Как, – говорю, – куда? К капитану, к замполиту. Приехал ты, Тихонов, откровенно говоря. Приехал!

Все враз, конечно, понял прохиндей, инакомыслящая шкура. Бледным стал, и во всем дальнейшем, как и в предыдущем, виноват исключительно один он.

Берет палку нарезную, сувенир мой для майора Глухова из ОБХСС. «Помни Неаполь» на ней написано, и этой самой палкой – промеж рог меня и еще раз, и еще, а потом по руке. Что Тихонов в своей ярости говорил тогда, пересказывать не хочу. Вам тут и так видна физиономия врага, зараза которого кишит сейчас в Риге, так что недаром ее в анекдоте еврейском называть стали Кишиневом.

Ну и понес я его, признаюсь, понес по кочкам вот этими руками, и палка никакая была мне не нужна. Взъярился, разумеется, как и положено в нашей работе. Не без этого. «Следствие в перчатках ведут, товарищи, только знатоки», – говаривал нам частенько нач. управления МВД.

Молочу гада, себя не помню, увлекся слегка. Вот тебе, тварь, за все получай: за свободу буржуазную, за клевету в адрес партии и правительства, за презрение к прогрессивной нашей политике внешней, за ненависть к сельскому хозяйству, к свободе слова, к писателям Вадиму Кожевникову, Машке Прилежаевой, которую ты, падло, ненавидишь только за то, что она про вечно живого Ильича пишет, и к Юлиану Семенову, воспевшему во весь голос наши органы, – получай.

Молочу, значит (скрывать этого не намерен, потому что считаю такие действия заслугой, а не преступлением против личности, как сказано в обвинении), молочу, а он, думаете, раскаивается, что с врагом иногда случается? Нет. «Фашист, – хрипит, – фашист... фашист... фашист...»

Ах, это я фашист?! Я, который после Дня Победы на волоске от смерти находился в кровавой борьбе с «зелеными братьями»? Я, который к высшей мере приводил разное отребье, не считаясь ни с нервишками, ни с временем семейной жизни? Я – фашист?!

Не удержался: ногой врезал под дых и так далее. Я ж не мог вот так сразу успокоиться, когда он упал и прекратил оскорбления в мой адрес, затих, короче говоря? Не мог. Молотил еще некоторое время, хотя прямой установки на убийство, от души говорю, у меня тогда не было.

Тут – Марсель. Если б не сувениры для дружков по работе, то плевать бы я хотел на этот город разврата...

Каюту запер. Тихонов, говорю начальству, верней руководству группы и сексоту Чирикову, паршиво себя чувствует, на берег сойти не может.

Я, безусловно, признаю свою вину за попытку провести тайком в город Ригу предметы порнографии сексуальной революции, как-то: два половых вибратора, мужской и женский, с напряжением 120/220 вольт.

Но если разобраться как следует, то и здесь есть для меня уважительная причина, а именно: желание помочь друзьям по работе, отдавшим здоровье свое и нервы органам, пожертвовавшим ради дела, ради борьбы со всем тем, что мешает нам двигаться вперед, самым иногда необходимым для семейной жизни. Ведь товарищ Ленин не раз заявлял: надо уметь мечтать, дорогие товарищи!

Похабные открытки и два журнала для пидарастов мне подсунули единомышленнички пострадавшего Тихонова. Уверен в этом. Больше никому. Ранее подобным товаром я никогда не спекулировал на черном рынке города Риги, борьба с которым ведется недостаточно эффективно, что и говорить.

Вы думаете, я не сознаю, почему я выбран после возвращения на Родину козлом отпущения? Прекрасно понимаю. На это есть две версии, как говорит Юлиан Семенов.

Первая: моя вина в том, что разгоряченный оперативной работой с Тихоновым, я потерял на нервной почве бдительность, и, естественно, двое сов. граждан, воспользовавшись этим самым, смылись в полицию и попросили политического убежища. Виноват. Моя ошибка. Забыл я как-то о них из-за Тихонова. А ведь были они у меня на примете, были. Чувал я, что финтят Минкявичус с Белобоковым: уж больно красноречиво насмежаются над так называемым свободным миром, глаза отводят от себя. Как в точку смотрел. Виноват. Одного предупредил – двоих проморгал. Арифметика, как говорится, не в мою пользу. Виноват. Больше этого не повторится.

Вторая версия, почему я сижу там, где раньше сидела тьма моих подследственных? Потому что затесались после 1953 года, ужасного для нашей страны, во все наши органы, а может, и куда повыше – не буду обходить здесь этого наболевшего вопроса – те, кто только и ждет, чтобы поставить подножку настоящему советскому человеку, человеку будущего. И в случае моего осуждения я непременно накаю жалобу великому Шолохову. Он что сказал насчет Абрама Терца и Юлиана Семенова, верней, Даниэля? Он сказал, что надо было не чикаться с этими предателями, а руководствоваться прямо революционным правосознанием и к чертовой бабушке, извините за выражение, расстрелять!

Я вот просил у защитника моего достать мне для последнего слова это высказывание из старых газет. Думаете, достал? Сам, небось, из тех, кто ждет момента... Но, ладно уж... не будем об этом... и так все ясно.

Я лично жалею об одном: погорячился, перебрал, недоглядел, а виноват единственно в том, что после обнаружения в моей каюте трупа пострадавшего Тихонова, в небольшой заварушке, посвященной моему незаконному аресту, затерял я телефоны тихоновских сообщничков, проживающих пока что еще на свободе, на подлинной свободе, а не марсельской, в нашем городе-герое Риге.

Поэтому прошу суд переквалифицировать мою статью о тяжких телесных повреждениях на халатность при исполнении служебных обязанностей, за что готов понести искреннее наказание, и учесть все мои заслуги с боевыми наградами, а также принципиальную нестигаемость после трагедии 1953 года.

Не мне должно быть место за решеткой, а таким, как пострадавший Тихонов.

Обязуюсь впредь при выездах за рубеж не покупать технической порнографии в виде обополых вибраторов и сувениров, имеющих форму с небольшим намеком на моральное разложение личности.

Надеюсь на ваше, граждане судьи, революционное правосознание, потому что надеяться, как мне кажется, больше уже не на что. До ручки дошли. И что я, как зам. нач. отдела кадров Института Маркса – Ленина, – незаменим на своем посту.

Взятки... Взятки... Взятки...

Решетов, работая директором магазина «Ленмебель-торг», получал взятки за продажу гражданам импортных мебельных гарнитуров вне очереди.

Последнее слово подсудимого Решетова

Граждане судьи, во время всех буквально судебных заседаний, во время нелогичных выступлений и реплик прокурора, во время истеричной и визгливой речи общественной обвинительницы Кузькиной я сидел, слушал всю эту белиберду и думал, почему же вместо того, чтобы ругать Решетова за моральное уродство, никто не скажет вслух от чистого сердца: а мог ли он не брать взятки?

Вот что должно быть предметом нашего судебного разбирательства. Вот что нам надобно бы исследовать социологически и психологически. Вместо того по сто раз на каждом заседании мы слышим демагогическую болтовню насчет пережитков капитализма в сознании людей, в частности, в моем преступном якобы сознании... Это, простите, несерьезно.

Вы судите не первого взяточника из нашей замечательной и прогнившей до основания торговой сети. Более того, вы судите меня фактически не за то, что я брал взятки (хотя я их действительно брал одно время), а за то, что я отказался их брать. И вам прекрасно это известно.

Если бы у нас была сейчас возможность допросить начальника городского отдела ОБХСС и следователей, которые вели мое дело, то вы услышали бы от них (если бы они, конечно, осмелились сказать правду), почему и по чьей указке я вообще оказался под следствием.

Вы же не можете не знать, граждане судьи, как каждый директор любой торговой точки повязан по вертикали, так сказать, с вышестоящим начальством. С начальством по гор-торгу, по райкому партии, по райисполкому, райотделу милиции и так далее вплоть до пьянчуги и вымогателя участкового.

И вы знаете, что любой директор считается заведомым вором, мошенником и взяточником. Просто цинично подразумевается, что ты не можешь не махинировать в торговой сети развитого социализма.

Я пришел в магазин сразу после института народного хозяйства, молодым еще человеком. Было это во времена Никиты Сергеевича. Не у одного у меня душа горела жить как-то по-иному, не так, как при Сталине. Литературу мы читали, где смело ставились острые нравственные проблемы. Мы задумывались о том, что не хлебом единым жив человек, и это явно было связано с крахом и саморазоблачением лживой идеологии.

Новое поколение людей пришло в торговую сеть так же, как и в органы милиции. Нам (многим из нас) приятно было как-то способствовать новой, более зажиточной жизни народа...

Колхозники стали получать наконец деньги за свой труд и потянулись в город за товарами. Ведь деревня почти тридцать лет жила в черном теле, особенно русская деревня.

Стоило подохнуть этому зверю Сталину, как люди вдруг остро ощутили, что нету у них стульев, столов, книжных полок, матрацев, черт побери, а о гарнитурах многие еще не задумывались.

Я лично горел на работе так, что носился по министрам с проектами лучшей организации производства мебели, покупки лицензий на Западе и так далее. ОБХСС вообще не заглядывал ко мне одно время.

Я чувствовал, что мне доверяют, и оправдывал доверие.

Мне нечего было скрывать сначала от своей жены, а потом и от двух взрослых детей.

Мой магазин считался образцовым, и сам я стал членом бюро райкома партии и горисполкома. Магазин славился хорошим ассортиментом мебели. К нам приезжали из других республик, но всех удовлетворить было невозможно. Мы организовали предварительную запись сначала на мелкие предметы, затем на гарнитуры. И строго следили за оформлением заказов. Прохиндеев я гнал в шею.

Но вот несколько раз подряд имел я разговоры то с одним деятелем, то с другим и в райкоме и повыше, не говоря об ОБХСС. И каждый деятель хитро намекал мне, что пора и поделиться доходами. Когда я уверял, что живу на зарплату, а взяточников и посредников близко к себе не подпускаю, деятели хлопали меня по плечу и говорили:

– Твердый ты мужик, Решетов. Так и держись. Трепачей нам не надо.

Конечно же, я понимал, что ждут они от меня доли нахапанного у покупателей и государства.

Потом, после моих отговорок, последовал прямой намек, что я – собака на сене. Или, мол, давай делись, или место мы тебе подыщем похолоднее.

Начальник районного отдела каждый день являлся и сидел в кабинете, ожидая пакета. Потеряв терпение, он прямо заявил, что с него тоже не слезают и ждут, ждут, ждут. И от души возмущаются, что все директора – люди как люди, только Решетов хитромудрый жлоб, чистюлей притворяется, все под себя гребет. В общем, хана тебе, Решетов, если не будешь перепуливать начальству. Тут все крепко друг с другом повязаны, и куска от пирога жаждут.

Поделиться я тогда терзаниями своими с женой. Она прямо заявила, что если буду воровать, то есть махинировать и брать взятки за внеочередной отпуск гарнитуров, то она уйдет от меня вместе с детьми.

Напился я с одним своим другом, который идеалистом был одно время. Он и помог мне совратиться. Я его не виню: сам мог устоять и найти другую работу. Мог. Но не устоял, когда он раскрыл мне глаза насчет морального облика тех, кто нами руководит на всех уровнях жизни.

Он в КГБ работал и буквально в каждом деле о крупных хищениях находил связи жулья с министрами, их замами, с партийными органами и так далее.

Овладело мной чувство безысходности. Не было возможности жить в этой помойке и не замарать душу. А если не замарать, то все равно не простили бы мне отступничества. Куда деваться?...

Зло меня взяло, и решил я так: раз вы хотите видеть во мне своего волка, из своей стаи, то я им стану. Будьте уверены. Но львиная доля перепадет не вам, а мне. Я по-мудрее вас. Все ходы и выходы знаю...

Долгое время жена ничего не знала. Потом случайно нашла у меня, у пьяного, в пиджаке дорогой браслет и книжку на предьявителя. На 30 тысяч. Жалкую часть моих доходов.

Связала это с моим перерождением, которое казалось мне незаметным, – и бросила. Даже от алиментов отказалась. Не предала однако. А надо было. Отсидел бы уже свое и начал бы, возможно, жизнь сначала. Значит, не судьба... Пришел, однако, такой момент, когда я понял, что погубил свою судьбу, а нахапанное не принесло мне даже минутного удовлетворения. Не погубил жулик до конца душу. Была еще возможность спастись от этой скверны, но не диссидентом же становиться?...

Перестал я вдруг посылать наверх каждый месяц тысяч по десять, а иногда и больше. И знал, чем это кончится. Я даже знал, когда ко мне мерзавца подошлют с переписанными

номерами банкнот. Я сам помог поймать себя с поличным. Знаете для чего? Вы ведь удивляетесь тому, что я себя явно топлю. Так вот знайте: я хочу подохнуть раскаявшимся человеком и плевал я на любой ваш приговор. Я и без него давно труп. Со мной родные дети отказываются встречаться.

Желаю вам успехов в борьбе со взяточничеством, взяточниками и их высокими покровителями.

Проклятая трудовая вахта

Баранов, находясь в нетрезвом состоянии, проник в рабочее время на территорию хлопчатобумажного комбината и пришел в цех, где работала его знакомая. Там Баранов стал приставать к ней и оскорблять нецензурной бранью. Мастер цеха Шевелев потребовал, чтобы Баранов ушел и не мешал работать. Однако Баранов уйти из цеха отказался. Когда Шевелев и помощник мастера стали его выдворять из цеха, Баранов оказал им сопротивление, выразился нецензурными словами и ударил Шевелева рукой по лицу. Баранова доставили в караульное помещение; там он тоже буйствовал, оскорблял работников охраны нецензурной бранью, разбил тумбочку.

Последнее слово подсудимого Баранова

Граждане судьи! Как вы знаете, следствие по моему делу велось почти полгода, и у меня было время для обдумывания своих поступков, а также для разговора с собственной совестью с глазу на глаз, потому что следователь Харборов посчитал меня особо опасным преступником, каковым никогда я не являлся, о чем написано в характеристике с места работы и из общества защиты животных при штабе охраны общественного порядка, и велел держать меня в одиночном заключении.

Само собой, я вчиню ему иск за потерю мною психического здоровья и не успокоюсь, пока его не призовут к ответу. В тюрьму меня привезли здоровым человеком, а сейчас перед вами фактический инвалид. Обладаю куриной слепотой. Частично потерял своевременное пищеотделение в виде кала. Каждую буквально ночь посещаюсь антисоветскими сновидениями в неприличном состоянии, как-то: мочусь в избирательную урну с блоком коммунистов и беспартийных, стучу кулаком по мавзолею с просьбой открыть и принять у меня для опохмелки пустую посуду в количестве 30 бутылок из-под французского коньяка, которого сроду не пил; наношу устные оскорбления портретам членов политбюро, которое на самом деле обожаю. Залажу на броневик у Финляндского вокзала с произнесением речи перед путниковцами, внесшими крупный вклад в дело об освобождении трудящихся от власти капитала. Но это – еще цветочки, а не сновидения.

Бывает, снится мне, как выкапываю я из-под земли секретаря парткома хлопчатобумажного комбината, рублю его на мелкие кусочки на манер дождевого червя, кладу в банку консервную «Завтрак туриста» и прусь на рыбалку. А плотвичка, ершики и даже ничтожные пескаррики не клюют на секретаря парткома и не клюют. Нету сна отвратительней для советских рыбаков, чем этот.

О прочих снах говорить не буду. Они представляют из себя смесь жалкой клеветы на нашу родную советскую власть с немислимым калейдоскопом различных половых извращений, вплоть до гнусного сожительства с комнатным растением фикус, чего до заключения меня горе-следователем Харборовым в одиночную камеру никогда не было ни во сне, ни на яву. Смотрите характеристику из секций тяжелой атлетики Дворца культуры имени Ленина.

Разберемся, перед тем как перейти к самому делу, почему я был выдворен из общей камеры, где вел агитацию за моральный облик советского человека на предварительном следствии.

Сразу после ареста Харборов принялся шить мне статью за антисоветскую агитацию и пропаганду, что никак не вяжется с моей личностью. Он заставлял меня, используя методы, заклеянные нашей партией на XIX и XX съездах, признаться в том, что я под предлогом свидания в пьяном виде со своей временно внебрачной женой Тонечкой призывал работ-

ниц ткацкого цеха не стоять на трудовых вахтах по призыву бесхозяйственного руководства комбината. Я, как и положено настоящему гражданину, отбиваюсь от такой чуши руками и ногами, ну и выливаю случайно в лицо Харборова чернила и попадаю ногой в живот.

После чего перевожусь в одиночную камеру якобы для спасения моей жизни от оголтелых уголовников, возненавидевших мою личность за любовь к родине, к борьбе за мир, за ненависть к хищениям социалистической собственности и эксплуатацию человека человеком в так называемом свободном мире. Якобы один заключенный за две пачки сигарет и лишнюю миску баланды в день предупредил о намеченном убийстве меня – патриота своей страны. Я был заключен, как какой-нибудь Чернышевский, в каземат, где схватил радикулит и астмовую бронхиальность.

Не было с моей стороны агитации против трудовых вахт в честь различных мероприятий и памятных дат типа дня рождения Ленина или годовщины присоединения к нашей родине Литвы, Латвии и Эстонии. Не было.

Просто лопнуло у меня терпение человеческое. С Антониной Шуваловой мы знакомы два месяца. За это время в результате бесед и прикидок различного характера приняли решение начать совместную половую жизнь с целью анализа дальнейших возможностей длительного брака. Сами понимаете, что в наше время большинство людей женятся вслепую, так сказать, или, образно говоря, кота в мешке покупают, а там еще и шило находится, которого, как известно, не утаишь.

Мы же с Тоней решили приглядеться, примериться семь раз, а уж один – отрезать, но зато до золотой свадьбы без разводов и раздела имущества. С работы, говорю, сниму тебя, будешь детей воспитывать, чтобы они, подлецы, с двенадцати лет портвейнов не жрали в парадных и ридикюли у женщин не выдергивали на улице прямо из рук. Лучше уж с самого начала не бросать детей на произвол уголовников, которыми кишмя кишит и город, и двор. Особенно приглядывать за ними надо во время так называемого полового созревания, которого у наших отцов и дедов, по ихним рассказам, вовсе не было, и не бесились они до изнасилования кого попало в парках культуры и отдыха.

Тоня согласна. Тем более у нее подозрение на чахотку от работы в цехе, кажется, на чесально-трепальном автомате. Пыль набилась в легкие и бронхи.

Назначаем решающее свидание. Я квартиры не имею. Поэтому нанимаю ее у инвалида войны Царапова Ильи на одну ночь, включая свет и прочие коммунальные услуги в совмещенном санузле. 10 рубчиков, как в гостинице номер «люкс» с телевизором. В его показаниях говорится и про это и про то, как я был взволнован первой, фактически, брачной ночью, вернее, ее ожиданием.

Бутылку поставил водки и бутылку шампанского. Закуску сообразил видную. Племянник мой в столовой обкома посудомоем работает для стажа в институт пищевой промышленности. Он мне достал селедки, тушенки банку, компот «Персики без косточек», колбасного сыра 200 грамм и мармелад развесной марки «Все выше, и выше, и выше». Нормальная, по нынешним временам, закуска.

Хризантему приобрел, как учили по радиокурсу хороших манер и новых обычаев. Гвоздик добавил пару и хвойных веток для полноты букета. Сколько дерут у нас на базаре тунеядцы кавказской нации за цветы, мы здесь говорить не будем. Я сделал заявление по этому поводу на следствии Хар-борову, но он его расценил как антисоветское и сказал, что не подошьет к делу.

Затем мы выпили с инвалидом Цараповым грамм по сто за его помощь в сервировке стола и поджарке картошки на барсучьем сале. Харборов за это сало пытался разоблачить меня как браконьера, но я в своей гневной отповеди доказал, что сало купил на базаре, где другого сала нету, потому что колхозники придерживают убой свиней до Седьмого ноября, вздувая цены на праздничное мясо.

Затем свидетель Царапов неохотно удалился, сказав, что возвратится не позднее семи утра, так как должен занять очередь в пункт приема посуды, чтобы к вечеру ее сдать, ввиду отдаленности пенсии.

Жду Тонечку со всей душой и желанием начать совместную жизнь с самого главного, как написано в книжке профессора Цукерштейна «Учимся советскому браку»... Телевизор включил, раз за него заплачено. Жду.

Час проходит в волнении. Мало ли что бывает. Могли и раздеть по дороге, и ридикюль выхватить. Автобусы, бывает, по часу не ходят, потому что водители-скоты «козла» забивают под интерес, для чего вытаскивают с помощью палки и клея монеты из касс самообслуживания. Я сам участвовал в рейде газеты «Путь к коммунизму» на автобазу, о чем в деле есть показания зав. отдела писем газеты товарища Цениной.

В общем, мало ли что бывает, думаю. Два часа проходит. Нет Тони.

Звоню сначала в милицию. Есть, говорят, у нас Шувалова. За проституцию арестована неоднократно на вокзале. Бегу в отделение. Убью сейчас, думаю, прямо в дежурной части. Строила из себя Валентину Терешкову, стерва. Хризантему, говорит, купи, дорогой Баранов, белую, в виде эмблемы моей невинности... Убью!

Граждане судьи! Разрешите устроить перерыв судебного заседания на пять минут для оправки ввиду недержания мочи из-за отбития моих почек следователем Харборовым после попытки ударить его стулом по голове... Спасибо за душевное понимание...

Граждане судьи! Во время этого короткого перерыва я многое осознал. Не следовало мне психовать и бежать в милицию, так как там находилась не Тоня, а иная женщина, хотя у нас в стране нету социальных причин для платной проституции и еще некоторых родинок капитализма типа однополого чувства.

Возвращаюсь домой, верней, в наемную квартиру инвалида. Там дым. Картошка сгорела на плитке с барсучьим салом. Дым столбом. Окна открыл и звоню из коммуналки в пожарку, что тут не пожар в случае тревоги, а картошка подгорела.

Звоню следом в общежитие комбината. Дежурный посылает меня в ответ на просьбу заглянуть в комнату 218... сами понимаете – куда посылают дежурные, и добавляет, чтобы я сам заглянул... не хочу тут заниматься уточнением.

На комбинат в цех не звоню, потому что Тоня в утро выходит и в пять кончает. Сам бегу в общежитие. Хоть дежурный не подал на меня жалобу, но я тут честно признаюсь, что потряс я его крепко за то, что посылал куда не следует, и советовал заглянуть туда же, если не дальше...

Стучу в Тонину комнату. Молчок. Неужели, думаю, с наладчиком Кусько опять закрутила платонический роман? Но в комнате явно есть парочка. Дыхание ихнее слышу. Выбиваю дверь плечом. Срываю одеяло с Тониной койки. Там Ленка находится со своим хахалем таксистом. Мне, говорит, Тоня разрешила встретиться. Она на вахте трудовой в честь достижения полюса северного атомоходом «Ленин».

Что я от всех этих дел почувствовал – сами понимаете. Себя не помню. Бегу на комбинат. Вахта меня не пускает, хотя я сам комбинатский человек и нахожусь, как компрес-сорщик, на доске почета; копия фото приложена к делу. Вахта с оружием у нас, потому что перед Седьмым ноября, Первым мая, выборами, Женским днем и конституцией значительно увеличивается хищение продукции комбината типа ситца, батиста и готовых изделий.

Я и вынужден был проникнуть на территорию через ограду, сорвав частично колючую проволоку длиной в 3 метра... Гудит как улей родной завод. Поговорка такая имеется... Вбегаю в цех. Пожалуйста – ходит моя Тонечка в ком-бинезончике синеньком, который снять должна была пять часов тому назад после дневной смены и быть со мной в сближении, ходит Тонечка у своих проклятых станков. Такое у меня зло на них тогда было! Подхожу.

– Что же, – вежливо говорю, – получается, Тоня?... Хризантема в воде разлагается... Водка с шампанским разогрелись, как на пляже... Картошка пропала с барсучьим салом, который от чахотки помогает... Время за комнату вхолостую движется, а ты тут у станков расхаживаешь, словно при рабстве капитализма и уйти не можешь по нашей уважительной причине?

– Не могу, – отвечает Тоня, – не отпустил мастер. В честь прибытия «Ленина» на Северный полюс должны мы отработать для рапорта партийному съезду целую смену. Процент выполнения плана не хватает всему комбинату.

После этих слов, врать не буду, начался во мне бурный конфликт между личным и общественным, где в тот раз победило из-за нервного состояния личное. Сознаюсь и беру обратно свой отказ о том, что громко кричал фразы типа:

«Плевать я хотел на все трудовые вахты вместе взятые! Нету в конституции нашей брежневской ни словечка насчет этих платных вахт! Труд не умеете, сволочи, организовать, а потом на наших шеях выезжаете для премий квартальных! Хватит с нас субботников! Скоро в честь дня рождения бабы директора комбината на вахту начнете нас ставить! Свидание с дамой – тоже трудовая вахта от всего сердца...»

Все это я высказал мастеру цеха Шевелеву – существу зверю типа надсмотрщика на царской каторге. Он записал мои слова в блокнот. Пошел, говорит, вон отсюда, дрянь гунявая.

– Тоня, – обращаюсь, – идем. Снимаю тебя с работы.

Прокормлю. Сейчас не война. За уход с работы не посадят, а уйти ты имеешь полное право. Они с профкомом не со гласовывают своих прохиндейских вахт и нарушают все трудовые законы страны.

Я, конечно, под хмельком был и не понимал, как это трудовая вахта, которых всегда будет бесконечное множество, важнее самой первой ночи кандидатов в мужа и жену. Не понимал...

Тоня склоняться начала на мои аргументы. И не циническими они были, как тут напрягался прокурор, а человеческими.

И не надо было мастеру Шевелеву хватать меня за рукав и обзывать такими словами, которыми в «Крокодиле» обзывают последних империалистов и поджигателей новой войны. На очной ставке он ведь принес свои извинения.

– Прости, – говорит, – Костя. На посту я был. За не выполнение плана, сам знаешь, тринадцатая зарплата на крылась бы, и талон на мясо не дали бы к празднику...

На очной ставке простил я ему, а тогда возмутился и поставил Шевелева на свое место одним резким движением. Он позвал помощника, и им удалось связать меня за руки. При этом я успел оттолкнуть лицо Шевелева связанными руками, так как оно находилось в неприятной близости от меня, обдавая сивушным перегаром.

Тоне Шевелев приказал с явной угрозой оставаться на рабочем месте, иначе ее осудят за саботаж производства и не переведут с шестикоечной комнаты в трехкоечную.

Она и осталась. Я сразу же понял, что такая кандидатка в жены женою моею не будет. Не было счастья, да несчастье помогло. Остальное вам известно. Тумбочку я разбил случайно ногой, потому что руки у меня были связаны, и я не буйствовал вовсе, а возмущался системой трудовых вахт.

Если в конституции записано, что мы имеем право на труд, то это не значит, что труд, когда захочет, имеет право на нас. Вы наведите ревизию на комбинате и увидите, сколько раз в году дирекция и партком заставляют работать ткачих сверхурочно под соусом разных дней рожденья, присоединений Прибалтики и Украины, годовщин каких угодно, начиная со столетия Максима Горького и кончая юбилеем выпуска первого советского метра ситца свободными от рабства капитала ткачихами. А приплытие «Ленина» на Северный полюс – вообще смешно.

Прошу суд назначить экспертизу моему здоровью, так как потерял большую его часть от рукоприкладства следователя Харборова, и психика моя нарушена обвинениями в анти-советских настроениях. Прошу не подвергать ответственности инвалида войны Царапова за якобы спекуляцию жилплощадью в корыстных целях, используя временные трудности государства в жилищном строительстве.

Руководить надо лучше и на других принципах, чем горлопанство с трудовыми вахтами, и не пускать денежки наши кровные на ветер черт знает где. И не борьбой за мир надо заморочивать нам головы на митингах, и в войну хватит играть нашим генералам и политикам, как в детстве. Не маленькие уже.

Еще раз повторяю, что я против трудовых вахт. Жизнь рабочего человека и так – сплошная трудовая вахта до самой пенсии, если, конечно, он раньше не выйдет в расход от подгонялок и плохой производительности труда.

Прилагаю через своего защитника, от которого толку как от козла молока, денежную претензию к парткому комбината в размере 36 рублей за оставленную в комнате Царапова начатую бутылку водки и не начатую бутылку шампанского, включая хризантему с гвоздикой в стакане и закуску, а также нереализованную жилплощадь за одну ночь...

За разбитую попытку начать брачную жизнь счета не предъявляю, так как на деньги эту травму перевести нельзя. Есть у нас кое-что подороже денег и трудовых вахт. У меня без вахт производительность труда годовая 110—125%. Справка об этом приложена к делу. Прошу коллектив цеха взять меня на поруки и обязуюсь начать работать в счет 1981 года. Славного года XXVI съезда нашей партии, который станет, как правильно заметил прокурор, очередной исторической вехой в жизни нашего прогрессивного народа, уверенно шагающего в ногу с партией вперед к светлому будущему, за что прошу сделать мне снисхождение. В крайнем случае, желаю выходить из тюрьмы на исправительный труд в своем цеху, где от меня будет больше пользы, чем на склеивании коробок для конфет «Привет из космоса». Прошу также не набавлять лишний срок за откровенность рабочего человека, о чем меня предупреждал защитник...

Мы придем к победе коммунистического труда.

Смерть овчарки

Антоненко, находясь в состоянии опьянения, пришел на берег реки со своей собачкой, натравил ее на теленка, принадлежащего Мирошниченко. На предложение Мирошниченко увести собаку домой или привязать ее Антоненко ответил бранью. После этого Мирошниченко сходил домой, взял охотничье ружье, пришел на берег реки и двумя выстрелами убил собаку. В это время к нему подошел Антоненко и нанес удар кулаком по голове, стал вырывать у него из рук ружье. В результате между ними возникла борьба, во время которой Мирошниченко нанес два удара кулаком Антоненко по голове. Третий удар Мирошниченко нанес потерпевшему прикладом ружья по голове, после чего тот скончался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.